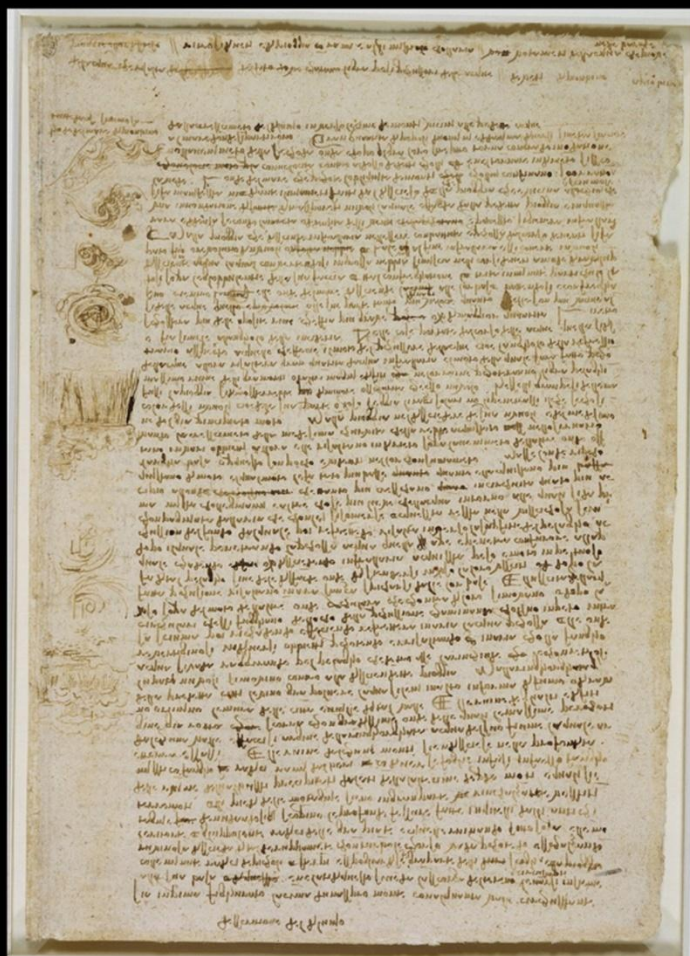


ЗАВЕЩАНИЕ БЫЛО ПОДДЕЛКОЙ



РОБЕРТ КАЗАНОВАС

РОМАН



Резюме

Профессор Пьер Бертье обнаруживает тревожный пробел во французских архивах: не сохранилось никаких следов грамот о натурализации, которые Леонардо да Винчи, уроженец Флоренции, должен был получить, чтобы завещать свои произведения. После его смерти в 1519 году, в отсутствие этого документа, право «обена» (*droit d'aubaine*), применявшееся к иностранцам, обязывало передать всё его имущество короне, включая знаменитую картину «Мона Лиза». Основанный на тщательно реконструированных реальных фактах, этот роман воссоздаёт роковую ночь, когда Мельци и Салаи, ученики художника, похитили важнейшие произведения ещё до королевской описи, а затем сфабриковали поддельное завещание, чтобы оправдать владение ими. Повествование рассказывает о том, как этот подлог просуществовал пять столетий. Этот роман, находящийся на стыке исторического триллера и научного расследования, ставит вопрос о границе между преступлением и героизмом: были ли Мельци и Салаи ворами — или же спасителями бесценного наследия?

Об авторе

Робер Казанова — заслуженный профессор в отставке (*agrégé*) и член Общества литераторов Франции (*Société des Gens de Lettres*). Юрист, увлечённый историей художественных коллекций, он посвятил долгие годы изучению присвоения произведений искусства государствами. Как президент неправительственной организации *International Restitutions*, он опубликовал многочисленные научные труды по этой теме.



Завещание было подделкой

Робер Казанова

casanovas@hotmail.com

Юридическое издание: ноябрь 2025 г. — электронная и печатная версии

© 2025 Казанова. Все права защищены

ISBN : 978-2-488999-56-4

www.international-restitutions.org

Обложка: факсимиле, Italian Art Society, 2020

Русская версия

Второе издание, исправленное и дополненное



От того же автора:

Украденная комната

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Этот роман является историческим художественным произведением, основанным на реальных исследованиях. Большинство упомянутых документов существуют, отмеченные несоответствия достоверны, а отсутствие грамот о натурализации доказано. Однако сцены, диалоги и мотивы персонажей вымышлены. Завещание Леонардо да Винчи остаётся по сей день оспариваемым документом. Французский оригинал так и не был найден. Грамоты о натурализации не фигурируют ни в одном королевском реестре. Право обена действительно применялось к иностранцам.

Действительно ли Франческо Мельци похитил эти произведения? Подделал ли он завещание? Мы, вероятно, никогда не узнаем этого с абсолютной уверенностью. Но одно несомненно: произведения уцелели. II, быть может, это единственное, что имеет значение. Оригинальная версия романа, написанная на французском языке, была переведена на несколько иностранных языков. Переводные версии могут содержать лингвистические ошибки, неточности или приблизительные толкования.

Для более глубокого анализа читателю предлагается ознакомиться с научной статьёй, опубликованной автором в «Leibniz Institut für Sozial Wissenschaften».

<https://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/94357>

ОГЛАВЛЕНИЕ

Пролог

Глава 1. Хозяин Кло-Люсе

Глава 2. Королевские агенты

Глава 3. Годы мистификации

Глава 4. Архитектура лжи

Эпилог

Завещание было подделкой

ПРОЛОГ

Париж, Национальные архивы Франции, октябрь 2023 года

Пьер Бертье уже десять минут неотрывно смотрел на эту фразу.

«Поелику имел он грамоты от короля христианнейшего, позволявшие ему завещать...»

Деталь. Всего лишь деталь в переписке Франческо Мельци, датированной 15 июня 1519 года. Три года поисков привели его к этой загадочной строке. И теперь, перечитывая её в сотый раз, он всё никак не мог отделаться от ощущения, что она над ним насмехается.

— Грамоты, которых не существует, — пробормотал он.

— Простите?

Антуан Маршан только что вошёл в большой читальный зал подлинных документов, держа в руках две чашки кофе. Хранитель Национальных архивов Франции уже несколько лет следил за работой Бертье. Между ними завязалось интеллектуальное содружество, замешанное на страстных спорах и ритуальных обедах.

Бертье поднял глаза от разложенных перед ним фотокопий.

— Эти пресловутые грамоты о натурализации, которые Леонардо якобы получил от Франциска Первого. Я только что перерыл все девять томов Католага актов. Все грамоты,

дарованные между 1515 и 1547 годами. Знаете, что я там нашёл?

Маршан поставил кофе и сел.

— Ничего?

— Совершенно ничего. Ни единого следа Леонардо да Винчи в королевских реестрах.

Маршан понимал, к чему это ведёт, но не респался облечь это в слова.

— Что означало бы, что...

— Что означало бы, что Леонардо никогда не мог законно завещать свои произведения. Без натурализации действовало право обена: после его смерти всё переходило королю.

Бертъе пододвинул к себе распечатку с сайта Лувра.

— Посмотрите, что говорит музей: Джоконда была *«подарена государю»* в 1518 году его учеником Салаи. За год до смерти мастера. Не находите ли вы это странным?

— Ученик, дарящий королю картину, которая ему ещё не принадлежит?

— Именно. Официальная гипотеза состоит в том, что Леонардо заранее позаботился о своём наследии. Но без грамот о натурализации это было юридически невозможно.

Маршан отпил глоток кофе, не отрывая взгляда от документов.

— Что вы хотите этим сказать, Пьер?

Бертъе откинулся на спинку стула, взвешивая каждое слово.

— Я хочу сказать, что завещание Леонардо — то самое, на котором держится вся история передачи его произведений, — существует только в итальянской версии. Французский оригинал? Так и не найден.

Нотариусы Амбуаза? Они всегда отказывались показывать свои архивы.

Он на мгновение замолчал.

— Добавлю, что Франческо Мельци, возможно, подделал завещание, чтобы присвоить себе произведения, которые по закону принадлежали Короне.

Тиканье настенных часов гулко отдавалось в тишине зала. Маршан смотрел на своего собеседника так, словно видел его впервые.

— Вы понимаете, что вы утверждаете? Джоконда...

— Джоконда действительно попала в королевские коллекции. Но вовсе не так, как нам рассказывали. Не через покупку, не через дар. Через конфискацию, в силу спорного и незаконного феодального права, которое никто не хотел замечать. А это сегодня создаёт серьёзные юридические проблемы. Не только для Джоконды, но и для многих других произведений художника, выставленных в наших музеях.

Маршан подошёл к окну, выходившему во двор особняка Субиз. Снаружи прохаживались прохожие, не подозревая о тайне, которую архивы хранили уже пять веков.

Бертье медленно собрал свои документы.

— То, что я вам сейчас расскажу, не найти ни в одном учебнике, ни в одной официальной справке. Это тайная история нашего самого знаменитого шедевра. История алчности, подлога, обмана. История, где факты переплетаются с легендами, где документы порой лгут весьма красноречиво.

Он поднял глаза на хранителя.

— Готовы ли вы узнать подлинную историю Моны Лизы?

ГЛАВА 1. ХОЗЯИН КЛО-ЛЮСЕ

Усадьба Кло-Люсе, близ Амбуаза

За два с половиной года до смерти Леонардо да Винчи впервые переступил порог усадьбы Кло-Люсе. В шестьдесят четыре года, измученный своими итальянскими скитаниями, он провёл тридцать лет, кочуя от двора к двору, из Милана в Рим, из Флоренции в Венецию, в поисках меценатов, способных понять его многогранный гений. Он неизменно наталкивался на одни и те же препятствия: зависть, непонимание государей, нетерпение заказчиков.

Путь из Лиона был тяжким. Переход через Альпы в носилках, несмотря на подушки и одеяла, обострил его суставные боли. Но теперь, любуясь этой усадьбой из розового кирпича и белого турецкого камня, укрывшейся в зелени турени, он ощущал странное умиротворение. Быть может, здесь он наконец обретёт покой.

Молодой король Франции, овеянный славой своей победы при Мариньяно, предлагал ему то, чего он никогда не находил в Италии: полную свободу. Ни спешных заказов, ни стеснительных обязательств. Лишь честь называться *«первым живописцем, инженером и архитектором короля»*, с щедрой пенсией в тысячу золотых экю в год и этой усадьбой, расположенной в нескольких сотнях шагов от королевского замка.

— Маэстро, — воскликнул Франческо Мельци, его первый ученик, помогая ему выйти из носилок, — вот ваше новое жилище. Разве оно не великолепно?

Леонардо оглядел здание, которому суждено было стать его последним пристанищем. Возведённое полвека назад Этьеном Ле Лу, казначеем Людовика Одиннадцатого, оно поднимало свои два этажа в стиле, гармонично

сочетавшем угасающую готику и первые веяния итальянского Ренессанса. Высокие окна с каменными переплётами позволяли угадать просторные светлые залы. Сбоку вздымалась восьмигранная башенка, увенчанная шиферной кровлей в форме перечницы. Вокруг тщательно ухоженные сады спускались террасами к речке Амас.

— Она красива, — признал старик. — Но она и очень далека от всего, чем была моя жизнь.

Он думал о Флоренции, родном городе, где постигал своё искусство в мастерской Андреа дель Верроккьо. О Милане, где семнадцать лет провёл на службе у герцога Лодовико Сфорца, создавая боевые машины, расписывая «Тайную вечерю» в трапезной Санта-Мария-делле-Грацие, тайно изучая анатомию в мертвецах. О Риме, где папа Лев Десятый принял его с меньшим воодушевлением, чем он надеялся, предпочтя молодого и пылающего Рафаэля. О Венеции, о Мантуе, снова о Флоренции — вечный поиск тихой гавани, которая всё время ускользала от него.

Второй ученик, прозванный Салаи, на самом деле звался Джан Джакомо Капротти. Наблюдая за разгрузкой сундуков с творениями и рукописями, он вмешался с обычной своей непринуждённостью:

— По крайней мере здесь, учитель, никто не станет упрекать вас за то, что вы работаете недостаточно быстро. Король Франциск оставляет вам свободу творить в своём ритме.

Леонардо кивнул. Франция знаменовала новое начало. Но также, смутно чувствовал он, и эпилог. С правой рукой, частично парализованной после удара, случившегося годом раньше, он знал, что его дни живописца сочтены. Быть может, он ещё сможет рисовать, размышлять, писать. Но большие полотна, монументальные фрески — с этим покончено.

Следующие недели были посвящены обустройству. Леонардо избрал под мастерскую большой зал второго этажа, обращённый на север ради постоянного ровного света. Оба его спутника организовали пространство: мольберты у окон, рабочие столы в центре, шкафы для тетрадей вдоль стен.

Он привёз с собой самые драгоценные свои творения: Джоконду, разумеется, которую никогда не соглашался продать, несмотря на заманчивые предложения; неоконченную «Святую Анну», над которой трудился уже пятнадцать лет; «Святого Иоанна Крестителя» с его тревожащим взглядом; «Леду с лебедем», чья чувственность возмущала благонаправных. И прежде всего — десятки тетрадей, полных его изысканий: этюды, основанные на тайных вскрытиях, чертежи летательных машин, трактаты об истечении жидкостей, размышления о перспективе и игре теней.

Распаковка этих сокровищ заняла несколько дней. Каждый ящик открывали с осторожностью, каждую картину разворачивали с благоговением. Франческо и Салаи привыкли к таким манипуляциям, но всегда действовали с крайним вниманием. Один удар, одна царапина — и годы труда могли пойти прахом.

Джоконду установили на мольберте у главного окна, там, где косые утренние лучи открывали все тонкости сфумато. Леонардо часами разглядывал её, спрашивая себя, стоит ли ещё что-то подправить или он наконец может считать её завершённой. Пятнадцать лет он работал над этим портретом, пятнадцать лет неизменно к нему возвращался, добавляя то неприметный слой лессировки, то меняя тень. Лиза Герардини, жена флорентийского купца Франческо дель Джокондо, давно умерла. Но её образ продолжал преследовать художника.

Рукописи методично разложили по шкафам. Мельци разработал систему классификации: анатомические этюды — в первом шкафу, исследования о воде и каналах — во втором, наблюдения о полёте и машинах — в третьем, размышления о живописи и перспективе — в четвёртом. Каждый том был снабжён ярлыком, датирован, где это было возможно, и кратко описан.

Именно это интеллектуальное сокровище делало Леонардо гораздо большим, чем просто живописцем. Он был человеком универсальным, умом, объёмлющим все формы познания. Его тайные вскрытия открыли ему секреты, неведомые докторам Сорбонны. Его наблюдения за полётом птиц привели его к замыслу летательных машин, которые однажды, быть может, позволят людям подняться в небо.

Но кому будет дело до всего этого после его смерти? Кто поймёт значение этих набросков, этих зеркальных заметок, этих сложных схем? Леонардо чувствовал, как на него давит ответственность передать это знание. Но кому? Франческо был умён и предан, но ему недоставало необходимого научного размаха. Салаи был ловок руками, но мало склонен к теории. Смогут ли оба ученика сохранить это наследие?

Леонардо вставал рано, несмотря на хроническую усталость. Он любил наблюдать рассвет из окна своей комнаты, смотреть, как свет постепенно преобразует пейзаж, открывая сначала тёмные массы деревьев, затем детали листвы, наконец краски.

После скромного завтрака — хлеб, фрукты, немного сыра, никогда мяса, ибо он давно придерживался вегетарианства, — он спускался в мастерскую. Утро посвящалось творческой работе: ретушь полотен, рисунки в тетрадах, размышления над трактатами. Затем следовал обед, за которым — неизбежный в его возрасте отдых.

Послеполуденное время оставалось для прогулок по садам или бесед с обоими подопечными. Вечером он читал при свечах, обращаясь к книгам, которые взял с собой: Плиний Старший, Витрувий, Альберти и его Библия с пометками. Франческо и Салаи поселились в комнатах, примыкавших к покоям учителя. Салаи, кроме того, располагал маленькой пристройкой в саду, которую обустроил под личную мастерскую. Их роль была многообразной: помощники в мастерской, секретари для переписки, домоправители в повседневных делах усадьбы. Король предоставил в их распоряжение нескольких слуг — кухарку, двух служанок, конюха, садовника, — но они предпочитали сами заниматься всем, что касалось непосредственно Леонардо.

Отношения между тремя мужчинами были непростыми. Леонардо относился к Франческо с почти отеческой нежностью. Этот молодой миланский дворянин, сын капитана герцогского ополчения, в шестнадцать лет оставил всё, чтобы последовать за ним: семью, состояние, виды на карьеру. Одиннадцать лет спустя, в двадцать семь, он стал гораздо большим, чем простым помощником. Он был поверенным, другом, духовным сыном.

С Салаи отношения складывались иначе. Джан Джакомо был подобран в десять лет как уличный мальчишка, вороватый и буйный. Леонардо воспитал его, обучил, превратил в умелого художника. Но между ними всегда сохранялось напряжение, некая двусмысленная игра из привязанности и раздражения. Салаи, которому теперь было тридцать шесть, оставался капризным, недисциплинированным, обольстительным. Порой он исчезал на несколько дней, возвращаясь без объяснений. Леонардо вяло его бранил, но в глубине души всегда прощал.

Трое мужчин составляли странную семью. Леонардо был мудрым и порой рассеянным патриархом. Франческо — методичным и преданным устроителем. Салаи — вольным духом, вносившим нотку лёгкости в их прилежные будни. Леонардо принялся изучать свои новые владения. Несмотря на ревматизм, он любил ходить пешком. Каждый день он обходил сады усадьбы, затем отправлялся исследовать окрестности.

Кло-Люсе соединялся с королевским замком подземным ходом. Эта галерея, прорытая в турецком камне, приводила Леонардо в восхищение. Он спускался туда не раз, изучая технику постройки, отмечая, как влага сочится из стен, размышляя о способах улучшить вентиляцию. Он делал заметки, набрасывал схемы. Быть может, он предложит королю усовершенствования?

Сады были великолепны даже в эту позднюю осеннюю пору. Террасы спускались к реке, засаженной плодовыми деревьями, овощами, пряными травами. Садовник, некий Реми, человек молчаливый, ухаживал за этими угодами с любовью. Леонардо часами наблюдал за работой природы: как опадают листья с деревьев, как птицы выют гнёзда, как вода бежит по оросительным канавкам.

Всё было предметом изучения. Однажды он три часа наблюдал за улиткой, ползущей по стене, заинтригованный механикой её движения. В другой раз он вскрыл лягушку, изучая строение её перепончатых лап, понимая, как они толкают животное в воде. Каждое наблюдение заносилось в его тетради, сопровождаемое рисунками поразительной точности.

Городок Амбуаз с его королевским замком, возвышавшимся над Луарой, являл собой впечатляющее зрелище. Леонардо регулярно навещался туда в сопровождении Франческо. Они проходили подземным ходом, выходили в сады замка, затем бродили по узким

улочкам города. Тосканец любил наблюдать за ремесленниками за работой: кузнецом, кующим железо, столяром, сколачивающим доски, пекарем, месящим тесто. Каждое ремесло раскрывало механические принципы, которые его ум мгновенно анализировал.

Сама Луара была неисчерпаемым предметом изучения. Леонардо часами простаивал на её берегах, вглядываясь в течение, отмечая перепады уровня воды, разглядывая водовороты, образующиеся вокруг опор моста. Вода всегда его завораживала — его, выросшего у берегов Арно. Он видел в ней вселенский принцип, изначальную силу, ваяющую землю, питающую жизнь, очищающую тела. Его изыскания о движении жидкостей были среди самых зрелых его трудов.

Король впервые навестил его уже на первой неделе декабря. Франциску Первому было тогда двадцать два года — возраст, когда воодушевление и честолюбие идут рука об руку. Высокий, атлетичный, с продолговатым лицом, увенчанным тщательно подстриженной каштановой бородой, он воплощал новое поколение государей-гуманистов, влюблённых в искусства и словесность не менее, чем в войну и охоту.

Он явился однажды утром в сопровождении небольшой свиты: своего близкого друга адмирала Бонниве, своего первого камергера графа де Сен-Поля и, разумеется, своего секретаря Гийома Гуфье. Они прошли подземным ходом, вынырнув в садах Кло-Люсе, точно заговорщики.

Леонардо ждал их в большой гостиной первого этажа, облачённый в свой самый нарядный чёрный бархатный наряд. Франческо и Салаи держались поодаль, готовые подавать вино и лакомства.

— Маэстро Леонардо, — произнёс Франциск по-итальянски с сильным французским акцентом, — для нас великая честь принимать вас в нашем королевстве. Мы

восхищались вашими творениями с самой ранней юности. Наш наставник, мессир Кристоф де Лонгей, показывал нам копии ваших рисунков и рассказывал о вашем гении.

Франциск, безусловно, восхищался Леонардо. Но он был также королём прагматичным. Вложением. Тысяча экю в год — цена целого полка наёмников. Что он получал взамен? Престиж обладания величайшим гением эпохи при своём дворе. Славу покровителя того, что отвергла Италия. Но также — и Франциск не скрывал этого от своих советников — надежду, что Леонардо создаст для него боевые машины, неприступные укрепления, новое оружие. Щедрость и расчёт вполне могли уживаться друг с другом.

Леонардо почтительно поклонился, но король остановил его дружеским жестом.

— Нет, нет, учитель! Это нам следует склониться перед вами! Вы величайший художник нашего времени, быть может, всех времён! Мы же — лишь молодой король, которому ещё многому предстоит научиться.

Эта трогательная — вероятно, отчасти расчётливая, но искренняя — скромность тронула старика. Он повидал столько заносчивых государей, столько снисходительных меценатов. Этот был иным.

— Государь, вы оказываете мне честь своим присутствием и своими словами. Но это я должен благодарить вас за то, что вы приняли меня в своём королевстве, когда собственная родина отвергла меня.

— Италия — мозаика мелких государств, ревнивых друг к другу. Франция — единое королевство под одной короной. Здесь ваш гений будет оценён по достоинству.

Франциск опустил в кресло, жестом пригласив Леонардо сделать то же. Его спутники остались стоять, но атмосфера была непринуждённой.

— Учитель, я хочу, чтобы вы чувствовали себя здесь свободным. Совершенно свободным. У вас не будет никакой обязанности творить. Живите, создавайте, размышляйте, как вам угодно. Одно ваше присутствие — уже бесценный дар.

— Государь, вы слишком щедры.

— Напротив, недостаточно. Знаете ли вы, что с детства я мечтаю сделать Францию новым центром Возрождения? У Рима есть свой Микеланджело. У Флоренции — свои Медичи. У Венеции — свои живописцы. Но у Франции будет Леонардо да Винчи.

В течение двух последовавших часов они беседовали об искусстве, о науке, об архитектуре. Франциск хотел преобразить своё королевство, возвести замки, которые соперничали бы с итальянскими дворцами, привлечь лучших художников...

— У меня есть замысел, который вас воодушевит, — объявил он, разворачивая на столе чертежи. — Мы хотим построить новый замок в Шамборе, в нескольких лье отсюда. Здание, сочетающее итальянские новшества и наши французские традиции. Мы подумывали о лестнице с двойным ходом, где два человека могут подниматься и спускаться одновременно, никогда не встречаясь. Что вы об этом думаете?

Леонардо внимательно рассмотрел чертежи. Идея была изобретательной, но техническое воплощение таило немалые сложности.

— Государь, замысел оригинален. Конструкцию придётся рассчитать с крайней точностью, дабы она выдерживала вес камня, сохраняя при этом плавность изгибов. Позвольте мне изучить это и предложить вам решения.

— Не торопитесь. Красота не терпит принуждения, её нужно ждать.

Когда король наконец удалился, Леонардо ощутил странный прилив бодрости. Впервые за долгие годы он встретил государя, по-настоящему понимающего то, что он делает, искренне интересующегося его замыслами, уважающего его не как полезного ремесленника, а как мыслителя-провидца.

Зима опустилась на Турень, принеся с собой стужу и утренние туманы. Кло-Люсе, с его большими каминами и плотными гобеленами, служил уютным убежищем от холода. Леонардо, всегда страдавший от миланских зим, оценил этот более мягкий климат.

Франческо занимался всеми практическими сторонами их устройства. Некоторые шептались, что обоих мужчин связывает особая привязанность, но Франческо отметал эти пересуды пожатием плеч.

— Дитя моё, — часто повторял Леонардо, — ты пожертвовал своей молодостью ради меня. Ты мог бы стать капитаном, как твой отец, жениться на богатой наследнице, вести безбедную жизнь в Милане. Вместо этого ты проводишь дни, разбирая мои тетради и растирая мои краски.

— Рядом с вами я узнал больше, чем узнал бы за десять жизней миланского придворного, — неизменно отвечал Франческо. — Вы научили меня смотреть на мир новыми глазами, подвергать сомнению уверенности, искать красоту в науке и науку в красоте. Как я мог бы сожалеть об этом выборе?

Мастерская напоминала пещеру Али-Бабы. На стенах — десятки приколотых рисунков: этюды голов, драпировок, пейзажей, машин, анатомии. На столах — научные приборы: циркули, линейки, наугольники, астролябии. В шкафах — сотни разрозненных листов, покрытых тем

зеркальным письмом, что шло справа налево, точно вспять по течению времени.

Леонардо трудился одновременно над несколькими замыслами. Он неустанно подправлял Джоконду, добавляя неприметные слои лессировки, дабы довести до совершенства sfumato, придававшее коже столь тревожаще правдивую текстуру.

Но правая рука всё больше подводила его. Врачи говорили об «*апоплексии*» — своего рода ударе, частично парализовавшем его правую сторону. Он ещё мог рисовать, но тонкие движения требовали немалых усилий. Живопись маслом, с её кропотливыми деталями, становилась изнурительной.

— Я старею, — порой шептал он. — Моё тело больше не подчиняется велениям разума. Странное ощущение — чувствовать себя узником собственной плоти.

Франческо пытался его успокоить:

— Учитель, для вашего возраста вы поразительно бодры. Ваши мысли остаются столь же новаторскими, ваш взгляд на мир — столь же проникательным. Что вам за дело, если рука немного дрожит?

— Что мне за дело? Я живописец, Франческо. Моя рука — моё орудие. Если она меня предаёт, кто я тогда?

— Вы гораздо больше, чем живописец. Вы мыслитель, учёный, инженер. Ваш ум стоит тысячи рук.

Эти разговоры повторялись регулярно — знак того, что Леонардо с ясностью сознавал упадок своих физических сил. Но он отказывался признавать себя побеждённым. Каждый день он усаживался перед Джокондой и пытался усовершенствовать тень, поправить блик. Результат часто разочаровывал — его десница уже не слушалась, — но он упорствовал с упрямой настойчивостью.

Франциск Первый сдержал слово: он регулярно навещал Леонардо. Порой со всем двором — своей супругой Клод Французской, своей сестрой Маргаритой Наваррской, советниками и придворными. Порой один, или почти один, в сопровождении своего друга Бонниве, ради душевных бесед.

Эти королевские визиты были настоящими событиями. Слуги суетились. Франческо следил, чтобы мастерская выглядела достойно, убирая разбросанные бумаги, обметая мебель. Салаи, питавший вкус к постановочным эффектам, выставлял на видное место несколько самых красивых рисунков.

Но Леонардо ненавидел эту суету. Он предпочитал внезапные визиты, когда король приходил подземным ходом без церемоний, усаживался в кресло и заводил беседу скорее как друг, нежели как государь.

Однажды февральским днём Франциск явился именно так, врасплох, застав Леонардо одного в мастерской, погружённого в созерцание Джоконды.

— Она всё ещё вас околдовывает, эта Дама?

— Государь, я уже не знаю, кто кого из нас двоих околдовывает... Пятнадцать лет я работаю над этим портретом. Пятнадцать лет ищу совершенства. И до сих пор не знаю, достиг ли я его.

— Совершенство, доведённое до абсурда, — пробормотал король, приближаясь к картине. — Но, быть может, именно в этом и заключается ваш гений. Эта невозможная погоня за абсолютом.

— Или моё проклятие. Знаете ли вы, сколько картин я оставил незавершёнными? Сколько заказов не исполнил? Меня упрекают за медлительность, за нерешительность. Говорят, будто я предпочитаю размышлять, нежели действовать.

— Говорят также, что каждое из ваших завершённых творений стоит десяти творений другого мастера.

Франциск встал перед Джокондой, безмолвно её изучая.

— Как вам удаётся придать этой Даме такое присутствие? Кажется, будто она вот-вот сойдёт с рамы и заговорит с нами.

Леонардо слабо улыбнулся.

— Государь, я потратил бесконечное время, снова и снова переписывая этот портрет. Я изучал игру теней на человеческой коже, то, как тёмные участки сливаются со светлыми. Это называется сфумато — искусство стирать контуры, дабы создать впечатление жизни.

— Сфумато, — повторил Франциск, смакуя итальянское слово.

«Задымлённое», в некотором роде. Как если бы вы писали сквозь пелену тумана.

— Именно. Природа не знает линий. Всё есть переход, движение от одной формы или краски к другой. Живописец, проводящий чёткие контуры, изменяет природе. Нужно намекать, а не утверждать.

Король слушал. Ему хотелось бы, чтобы Леонардо написал ещё какие-нибудь шедевры, но он понимал, что тот уже слишком устал, слишком ослаблен своим частичным параличом.

— Не изнуряйте себя творчеством ради нас, — добавил он с необычной для себя мягкостью. — Ваше присутствие здесь уже бесценный дар. Беседуйте с нами, советуйте нам, делитесь своей мудростью. Вот чего мы от вас ждём.

Эта доброта тронула Леонардо. Сколько меценатов проявляли к нему подобное понимание? Сколько из них согласились бы, что стареющий художник уже не так продуктивен?

— Государь, вы редкий государь. Я служил Лодовико Сфорца, Чезаре Борджиа, папе Льву Десятому. Никто не обходился со мной с таким уважением и такой свободой. Я буду вечно вам за это признателен.

— Это мы вам признательны. Уже сейчас другие итальянские художники присоединяются к нам, привлечённые вашим примером. Скоро у нас будет собственная Флоренция, собственный Рим.

Но за этими политическими расчётами Франческо угадывал нечто более подлинное: настоящую дружбу между молодым королём и старым мастером. Невероятную дружбу, преодолевающую поколения и сословные границы, основанную на взаимном восхищении.

Весной 1517 года Франциск Первый поручил Леонардо художественный надзор за строительством Шамбора. Этому замку, первый камень которого предстояло заложить в сентябре, суждено было воплотить величие французской монархии и её открытость итальянским влияниям.

Леонардо погрузился в проект с энергией тридцатилетнего человека. Правая рука его ослабела, но ум оставался живым. Он чертил планы, изобретал новшества, предлагал технические решения архитектурных задач.

Лестница с двойным ходом, эта жемчужина будущего замка, занимала его мысли. Как построить конструкцию, где два человека могут подниматься и спускаться, никогда не встречаясь? Геометрический принцип был прост: две переплетённые спирали. Но её воплощение в массивном камне ставило грозные задачи статике.

Леонардо провёл недели, рассчитывая нагрузки, чертя своды, продумывая центральный стержень. Он исписал целые тетради схемами, пометками, расчётами. Франческо помогал ему, начисто переписывая наспех сделанные

наброски, проверяя расчёты, приводя документы в порядок для представления королю.

— Учитель, эта лестница — чудо изобретательности, но уверены ли вы, что её можно построить? — порой тревожился Франческо, опасаясь, как бы учитель не истощил себя ради, возможно, неосуществимого замысла.

— Всё, что можно помыслить, можно построить, — уверенно отвечал Леонардо. — Вопрос не в том, *«можно ли?»*, а в том, *«как?»*. И я покажу им, как.

Шамбор был не единственным замыслом. У Франциска Первого имелись и другие честолюбивые планы для своего королевства. Он хотел модернизировать укрепления пограничных городов, прорыть каналы для облегчения торговли, разбить в своих замках сады на итальянский лад, развить королевскую артиллерию.

По всем этим вопросам он советовался с Леонардо. И старик отвечал ему с щедростью, делясь необъятными знаниями, накопленными за сорок лет размышлений и опытов.

Для укреплений он предложил звёздчатые бастионы, которые лучше противостояли бы пушечным ядрам, чем старые средневековые стены. Он начертил тщательные планы, показывая, как рассчитанные углы будут отклонять снаряды вместо того, чтобы принимать их в лоб.

Для каналов он предложил трассу, соединяющую Луару с Соной, позволяющую товарам пересекать Францию, минуя опасные дороги. Он придумал системы шлюзов, которые экономили бы воду, ускоряя при этом проход судов.

Для садов он вообразил впечатляющие водные забавы, искусственные гроты, автоматы, которые изумляли бы посетителей. Вдохновлённый садами виллы д'Эсте,

которые он открыл для себя в Италии, он хотел создать нечто ещё более грандиозное.

Оба его ученика помогали ему по мере сил. Франческо, с его инженерной подготовкой, понимал техническую сторону дела. Салаи, с его ловкостью рук, строил макеты, вдыхавшие жизнь в отвлечённые замыслы Леонардо.

Мастерская Кло-Люсе превратилась в лабораторию идей, где ставили опыты, испытывали, совершенствовали. Уменьшенные модели машин загромождали столы. Рисунки покрывали стены. Тракаты громоздились на полках. Это был упорядоченный хаос, плодотворный беспорядок, свидетельствовавший об интенсивности творчества, царившей здесь.

Весной 1517 года здоровье Леонардо начало ухудшаться. Ревматизм усиливался, движения становились болезненными. Паралич десницы прогрессировал, распространяясь на предплечье. В иные дни он не мог даже удержать перо.

Из замка приезжали врачи. Они осматривали больного, задавали вопросы, ощупывали онемевшие члены. Их диагноз был безжалостен: учитель перенёс мозговой удар, повредивший нервные центры, управляющие правой стороной тела. Паралич был необратим и мог даже усугубиться.

— Сколько мне осталось? — спросил Леонардо с ясностью ума, удивившей врачей.

— Это в руках Божьих, — осторожно ответил доктор Бургензис, личный врач короля. — Вы можете прожить ещё годы, или...

— Или умереть завтра. Понимаю. Благодарю за откровенность.

Когда врачи ушли, Леонардо остался безмолвен, вглядываясь в свою неподвижную правую руку, лежавшую на подлокотнике кресла. Эта рука, что писала «Тайную вечерю», ваяла мраморных ангелов, вскрывала десятки трупов, начертила тысячи рисунков. Эта рука, что более ему не повиновалась.

— Учитель, — прошептал Франческо, комкая слова от волнения, — не теряйте надежды. Быть может...

— Франческо, друг мой, надежда — добродетель похвальная. Но реализм порой полезнее. Моё тело меня подводит. Это факт. Я должен принять его и приспособиться.

— Приспособиться как?

— Сосредоточившись на том, что я ещё могу сделать. Я больше не могу писать красками, пусть так. Но я ещё могу мыслить, писать левой рукой, диктовать свои мысли. Я ещё могу передавать знание.

Это стоическое смирение поразило обоих спутников. Леонардо был не из тех, кто предаётся жалобам. Он встречал невзгоды с той же научной пытливостью, какую применял ко всему: анализируя симптомы, понимая механизмы, ища решения.

В последовавшие недели мастерская приспособилась. Франческо стал руками Леонардо. Когда учитель хотел подправить картину, он диктовал указания, а Франческо исполнял их, руководимый непрестанными замечаниями. Это было мучительно для обоих, но выбора у них не было.

Салаи же взял на себя все практические стороны, с которыми Леонардо больше не мог справляться сам: одевать его, брить, резать ему пищу. «*Маленький бес*» проявлял в этих скромных заботах неожиданную нежность, терпение, которого никто в нём не подозревал.

Лето 1517 года принесло развлечение. Франциск Первый устроил большие празднества по случаю крещения своего сына, дофина. В течение нескольких недель Амбуаз стал ареной турниров, балов, пиров, зрелищ.

Король попросил Леонардо придумать некоторые из увеселений. Несмотря на усталость, Леонардо согласился. Это была возможность показать, что его творческий гений не ослабел, даже если тело сдавало.

Он придумал механического льва, который приближался к королю, а затем раскрывал грудь, откуда высыпались лилии — символ французской монархии. Постройка этого автомата на несколько недель поглотила Франческо и Салаи, которым помогали несколько местных ремесленников. Леонардо руководил работой из своего кресла, диктуя указания, исправляя ошибки, совершенствуя механизмы.

В день представления весь Амбуаз затаил дыхание. Лев, гигантских размеров, тронулся с места с механическим рычанием. Он приблизился к королю, остановился перед ним, а затем грудь его раскрылась, явив букет искусственных лилий поразительной красоты.

Публика заплодировала. Франциск Первый, растроганный, подошёл к Леонардо, наблюдавшему за сценой с помоста.

— Учитель, вы вновь нас изумили.

— Государь, это лишь игрушка. Но я рад, что она вам понравилась.

— Больше, чем игрушка. Это символ. Лев, символ Флоренции, откуда вы родом, раскрывается, являя лилии Франции. Это воплощённый наш союз, Италия и Франция, объединённые в искусстве и красоте.

Леонардо не думал об этой символике, но был тронут тем, что король нашёл в ней столь глубокий смысл.

Празднества длились несколько дней. Были водные ристалища на Луаре, водные балеты, фейерверки. Леонардо, слишком уставший, чтобы присутствовать при всём, довольствовался рассказами, которые каждый вечер приносили ему Франческо и Салаи.

Но эта радостная пора ещё больше его истощала. Умственное усилие по созданию механического льва, нервное напряжение представления, всеобщее возбуждение отняли у него силы. В августе ему пришлось две недели пролежать в постели, сражённому упорной лихорадкой.

Осень принесла возвращение дождей и первых холодов. Леонардо всё больше времени проводил в постели или в кресле у камина. Ноги уже плохо его держали. Лестницы стали настоящей мукой.

Франческо велел поставить кровать прямо в мастерской, чтобы Леонардо больше не приходилось подниматься и спускаться. Мастерская стала одновременно спальней, кабинетом, гостиной. Там учитель принимал посетителей, работал, насколько позволяло здоровье, проводил ночи.

Эти месяцы были отмечены глубокой самоуглублённостью. Леонардо, всегда обращённый к будущему, к замыслам и открытиям, принялся размышлять о своей жизни, о своём наследии, о том, что он оставит после себя.

Он перечитывал старые тетради, находя забытые рисунки, заметки, сделанные двадцать или тридцать лет назад. Одни замыслы по-прежнему изумляли его своей дерзостью. Другие казались наивными, незрелыми. Но все они свидетельствовали о жизни, посвящённой поиску знания.

— Франческо, — сказал он однажды вечером, перелистывая вместе с ним старую тетрадь, — взгляни на

всё, что я обдумал, вообразил, начертил. Сотни машин, тысячи наблюдений, целые трактаты. И всё же у меня чувство, будто я лишь коснулся поверхности знания.

— Вы свершили за одну жизнь то, чего другие не свершили бы и за десять. Одни ваши анатомические открытия преобразят медицину.

— Если их опубликуют. Если они не останутся погребёнными в этих томах, которые никто не может прочесть из-за моего почерка. Если они не будут утрачены, рассеяны, забыты после моей смерти.

Эта тревога возвращалась часто. Леонардо с тоской измерял риск того, что весь его труд будет утрачен. Кому будет дело до этих исписанных тетрадей? Кто найдёт время их расшифровать?

— Я прослежу за тем, чтобы ваши труды были сохранены, — торжественно обещал Франческо. — Я посвящу этому жизнь, если понадобится, дабы поведать миру о вашем гении.

— Ты добрый сын. Лучше, чем я того заслуживаю.

— Беда в том, что эти тетради имеют цену лишь для тех, кто способен их понять. Для купца это всего лишь каракули на старой бумаге. Как сможет Франческо их сохранить, если никто не захочет их купить?

Это грубое, но реалистичное замечание Салаи поразило учителя. Франческо был прав. После его смерти кому нужны будут эти тетради? Кто заплатит за них? Кто станет их изучать?

— Тогда придётся отдать их каким-нибудь учреждениям, быть может, Парижскому университету, или знатым просвещённым сеньорам, способным оценить их значение.

— Университеты интересуются лишь Аристотелем и отцами церкви. Ваши наблюдения, ваши летательные

машины — всё это покажется им подозрительным, а то и еретическим.

Леонардо пришлось признать правоту своего ученика. Знание, накопленное им, слишком опережало своё время. Возможно, понадобится столетие, а то и два, прежде чем кто-нибудь поймёт значение его открытий.

— Тогда сохраните хотя бы картины, — вздохнул он устало. — Картины способен оценить каждый. Джоконда, Святая Анна, Святой Иоанн Креститель. Именно они позволят мне пережить себя.

Зима выдалась суровой. Учитель всё больше времени проводил в постели или у камина, закутанный в шерстяные одеяла. Приезжали врачи, прописывая кровопускания, травяные отвары, припарки. Ничто не помогало настоящему.

Франциск Первый продолжал навещать его, невзирая на непогоду.

Весной 1518 года состояние Леонардо ухудшилось.

Франческо и Салаи сменяли друг друга у его постели, отирая горячий лоб, давая пить, бодрствуя днём и ночью. Их сжимала тревога. Неужели они потеряют своего учителя? Того, кто столько лет был им отцом, другом, наставником?

— Он умрёт, — прошептал однажды вечером Франческо, обращаясь к Салаи, со слезами на глазах. — Он покинет нас, и мы ничего не сможем поделать.

— Не говори так, — возразил Салаи. — Учитель силён. Он преодолел столько испытаний. Он выживет и на этот раз.

Вопреки всему Леонардо оправился. В мае 1518 года лихорадка отступила. Он смог встать, сделать несколько шагов, вновь обрести подобие аппетита. Врачи

заговорили о чуде, оба спутника возблагодарили Провидение.

— Я видел смерть, — признался Леонардо Франческо во время прогулки по садам Кло-Люсе. — Она была здесь, совсем рядом. Я чувствовал её холодное дыхание на затылке. Но что-то меня удержало. У меня ещё есть дела, есть что передать.

— Какие дела?

— Пока не знаю. Но узнаю, когда придёт время.

Ослабевший от болезни, Леонардо возобновил свои занятия.

Прошло лето 1518 года, затем осень. К нему вернулась часть сил, и он взялся за работу с удивительным упорством, словно хотел свершить как можно больше до близившегося, как он чувствовал, конца.

Он чертил планы идеального города, с улицами в несколько уровней, разделяющими пешеходов и повозки. Он изучал завихрения воды, заполняя целые тетради рисунками вихрей и водоворотов.

Осень была отмечена также растущей тревогой о судьбе его творений. Леонардо наблюдал за обоими своими подопечными и спрашивал себя, смогут ли они сохранить его наследие.

Франческо был умен, предан, организован. Но хватит ли у него власти, чтобы доказать миру, не способному их понять, ценность этих тетрадей? Хватит ли у него средств, чтобы сохранить картины, а не продать их первому попавшемуся торговцу?

Салаи был ловок, находчив, но также взбалмошен и порой не слишком щепетилен. Леонардо не раз заставлял его на лжи, на присвоении того, что ему не принадлежало. Можно ли было доверить ему заботу о столь драгоценном наследии?

Эти сомнения его терзали. Он заговорил о них с Франциском Первым во время визита в октябре.

— Государь, мои спутники — славные юноши. Но я боюсь, что они не готовы к трудностям, которые ждут их после моей смерти.

— Каким трудностям?

— Кредиторам, которые явятся требовать воображаемые долги. Бессовестным торговцам искусством, которые попытаются их обмануть. Как двум молодым итальянцам, затерянным во Франции, противостоять всему этому?

Франциск положил руку на плечо Леонардо.

— Я позабочусь о них. Даю вам слово. После вашей смерти я прослежу, чтобы они ни в чём не нуждались и чтобы ваши творения были уважаемы.

— Благодарю вас, государь. Но короли быстро забывают свои обещания, когда того, кто их внушил, уже нет.

— Я не забуду. Даю вам королевское слово.

Леонардо хотел верить королю. Но в глубине души он знал, что слова, даже королевские, развеиваются со временем.

Зима 1518–1519 годов стала последней. Леонардо это чувствовал, оба спутника это знали, но всё ещё отказывались признать.

В январе 1519 года болезнь вернулась. Упорный кашель, затруднённое дыхание, общая слабость. На сей раз врачи были настроены пессимистично. Изношенное тело больше не отвечало на лечение. Кровопускания приносили лишь временное облегчение. Травяные отвары оставались бездейственны.

Франциск Первый навещал его почти каждый день. Он садился у изголовья, держал его за руку, тихо говорил с ним. Эти королевские визиты трогали весь дом. То, что

король Франции посвящал столько времени умирающему старику, свидетельствовало об искренней привязанности, которую он к нему питал.

— Государь, — сказал Леонардо однажды в минуту ясности, — благодарю вас за всё, что вы для меня сделали. Эти годы в Амбуазе были покойны.

— Это я вас благодарю, — с волнением ответил Франциск. — Ваше присутствие озарило наш двор. Вы научили нас смотреть на мир новыми глазами.

— Мне хотелось бы сделать для вас больше. Завершить Шамбор, прорыть тот канал, написать те фрески, о которых мы говорили. Но тело меня предало.

— Вы сделали главное: показали нам, что есть гений. Это бесценный дар.

В феврале и марте у Леонардо чередовались периоды улучшения и приступы болезни. В иные дни он чувствовал себя лучше, мог встать, сесть в кресло, беседовать почти как прежде. В другие дни он оставался в изнеможении, дышал прерывисто, не в силах произнести больше нескольких слов.

Франческо и Салаи больше не покидали мастерскую. Они спали на тюфяках, расстеленных у постели учителя, готовые вмешаться при малейшем признаке недомогания. Их преданность была безграничной.

В марте и апреле у Леонардо было со своими учениками несколько бесед, которым суждено было запечатлеться в их памяти навсегда.

Однажды он позвал Франческо и доверил ему:

— Когда я уйду, тебе придётся продолжать без меня. Это будет трудно. Ты будешь чувствовать себя потерянным, покинутым. Но ты найдёшь свой путь. В тебе есть сила, о которой ты пока не подозреваешь.

В другой раз он призвал Салаи:

— Мой *«маленький бес»*, ты был со мной с десяти лет. Я подобрал тебя, когда ты был всего лишь уличным мальчишкой. Теперь ты взрослый человек, умелый художник. Но в тебе остался и тот шалый повеса, которого я узнал когда-то.

Салаи улыбнулся сквозь слёзы.

— Я никогда не умел быть серьёзным. Это не в моей природе.

— Знаю. И именно за это я тебя люблю. Ты приносил мне радость, когда мне было грустно, лёгкость, когда я был слишком благоразумен. Не меняйся. Оставайся собой.

— Обещаю вам.

Были и более практические разговоры. Леонардо хотел удостовериться, что его спутники знают, где лежат его важные бумаги, как управляться с его долгами, какие творения имеют ценность.

— В дубовом сундуке лежат векселя флорентийских банкиров. Вы сможете получить по ним деньги после моей смерти. Это даст вам немного средств, чтобы прожить, пока не продадите несколько картин.

— Мы ничего не продадим, — возразил Франческо. — Мы сохраним всё в вашу память.

— Не будь глупцом. Вам понадобятся деньги на жизнь. Продавайте, что нужно, но с умом. Не сбывайте мои полотна первому встречному торговцу. Дождитесь настоящих ценителей, способных оценить их по достоинству.

Эти наставления перемежались с более философскими размышлениями о жизни, смерти, искусстве, науке. Леонардо, чувствуя близость конца, хотел передать суть мудрости, накопленной за шестьдесят семь лет насыщенного существования.

— Дети мои, — повторял он, — я провёл жизнь в поисках истины. В живописи, в науке, в наблюдении природы. И знаете, что я обнаружил? Что истина неуловима. Всякий раз, как кажется, что она схвачена, она ускользает. Удаётся уловить лишь обрывки, отблески. Но этот поиск, даже тщетный, придаёт жизни смысл.

Усадьба Кло-Люсе, близ Амбуаза, 28 апреля 1519 года

Утреннее солнце проникало через широкие проёмы усадьбы Кло-Люсе. В большой мастерской второго этажа Франческо Мельци наблюдал за дремлющим учителем. Несколько дней его состояние ухудшалось.

Но теперь конец приближался, а с ним — страшные вопросы, которые старик слишком долго отгонял.

— Учитель, — прошептал Франческо, приближаясь к креслу, — как вы себя чувствуете этим утром?

Леонардо приоткрыл веки, словно возвращаясь издалека. Его глаза, несмотря на усталость, всё ещё сохраняли ту остроту, что так поразила Франческо при их первой встрече. Но юноша заметил в них и новую подавленность, смирение, сжавшее ему сердце.

— Я чувствую себя старым деревом, чьи корни начинают отрываться от земли. Каждый вдох требует немалого усилия, каждый удар сердца кажется последним.

Он закашлялся, поднеся здоровую руку к груди.

— Не говорите так. Вы преодолели столько испытаний! Вспомните вашу прошлогоднюю болезнь, мы все думали, что вы нас покинете, и всё же...

— Правда, — перебил его Леонардо. — Я пережил козни Чезаре Борджиа, зависть Микеланджело, злословие римских придворных. Но настает миг, когда душа понимает, что тело больше не может ей служить. Этот миг настал.

В углу Салаи растирал краски на мраморной палитре, его точные движения выдавали годы опыта.

— Друг мой, — слабо позвал Леонардо, — подойди. Нам нужно поговорить, всем троим.

Салаи отложил кисти и подошёл к Франческо у кресла. Лицо его было измождено — знак того, что он мало спал в последние ночи. Уже неделю они бодрствовали у постели учителя, высматривая малейший признак улучшения, страшась каждого ухудшения.

— Врач, которого мы вызвали из Орлеана, утверждает, что ваше состояние может ещё улучшиться. Он прописал ежедневные кровопускания и отвары хины...

— Орлеанский врач знает о моём состоянии не больше моего. Я вскрыл достаточно человеческих тел, чтобы понимать, что во мне происходит. Сердце слабеет, лёгкие с трудом справляются, и сам мой разум начинает отделяться от этого мира.

Леонардо смотрел на обоих своих подопечных с той отеческой нежностью, что он выказывал им столько лет.

— Знаете ли вы, что самое мучительное в приближении смерти? Не физическое страдание, которое можно облегчить снадобьями. Даже не страх неведомого, ибо мне всегда было любопытно узнать, что нас ждёт за гранью. Нет, самое мучительное — это необходимость покинуть тех, кого любишь, оставить их одних перед тяготами существования.

Никогда прежде Леонардо не говорил с ним с таким волнением.

— Мы уже не дети. Вы передали нам своё знание, свою страсть к искусству. Мы сумеем почтить вашу память.

— Ты не осознаёшь трудностей, что вас ждут. Есть обстоятельства, о которых я никогда не говорил — быть может, по небрежению. Настало время открыть их вам.

Он собрал силы для этого важнейшего разговора.

— Помогите мне подняться. Я хочу в последний раз полюбоваться своими творениями, и в особенности моей Дамой.

Франческо и Салаи бросились поддержать его и подвести к мольберту, где, тщательно укрытый шёлковой вуалью цвета амаранта с золотой вышивкой, покоился портрет, ни разу не покидавший мастерскую с их приезда во Францию.

— Эта Дама сопровождала меня повсюду. Через все мои скитания, все изгнания, все разочарования. Никогда я с ней не расставался, никогда не соглашался её продать, даже когда мои средства были на исходе или мне предлагали за неё целое состояние.

Он приподнял вуаль, открыв Джоконду во всей её таинственной красоте. Утренний свет, проникавший через окна, ласкал написанное лицо особой мягкостью, обнажая бесконечную сложность моделировки.

— Полюбуйтесь ею хорошенько. Взгляните на эту улыбку, на которую я потратил четыре года в первую флорентийскую пору, а затем ещё одиннадцать лет переделывал. Каждая прозрачность, каждая тень были продуманы, передуманы, исправлены. Эта женщина уже не просто Лиза Герардини, супруга Франческо дель Джокондо, флорентийская горожанка, чей портрет я написал за несколько флоринов. Она стала воплощением всех моих раздумий о женской красоте, о тайнах человеческой души, об искусстве вдохнуть жизнь в живопись.

Франческо изучал портрет. Он вспоминал своё первое впечатление от Джоконды, в миланской мастерской, в 1508 году. Леонардо тогда совершенствовал то сфумато, что придавало коже столь тревожаще правдивую текстуру. Он

часами наблюдал за его работой, зачарованный его техникой, поражённый его терпением.

— Это полотно — ваш абсолютный шедевр, — заявил он. — Никто и никогда не умел писать жизнь с такой силой. Когда смотришь на неё, кажется, что она заговорит, что она встанет со своего кресла.

— Жизнь... — задумчиво повторил Леонардо. — Да, вот что я стремился уловить. Не подобие жизни, а самое жизнь. Взгляните на эти руки...

Он указал на руки Джоконды, покоившиеся одна на другой с бесконечной грацией, вылепленные с тонкостью, граничащей с совершенством.

— Я сделал десятки этюдов, прежде чем найти это положение. Эти руки не просто сложены, они выражают состояние души: безмятежность, тронутую лёгкой меланхолией, спокойствие, скрывающее внутреннее напряжение.

Салаи приблизился к портрету, очарованный, как и всегда, этим творением, чьё рождение и преображение он наблюдал год за годом.

— Это чёрное шёлковое платье, эти прозрачные вуали, что струятся вокруг шеи... Как вам удалось сделать материю столь осязаемой? Кажется, будто можно потрогать ткань.

— Наблюдением. Неустанным наблюдением, с терпением монаха-переписчика. Знаете ли вы, что я часами изучал блики на атласе, складки муслина, игру теней на лице? Я сделал сотни подготовительных этюдов, испробовал десятки цветовых смесей. Каждая деталь этого портрета — плод тысяч наблюдений, тысяч проб.

Леонардо залюбовался пейзажем, простиравшимся позади фигуры Джоконды, — этим вымышленным пейзажем с

фантастическими скалами, извилистыми водами, таинственными туманами.

— И этого пейзажа нигде не существует. Я составил его, черпая из воспоминаний о ломбардских Альпах, тосканских холмах, понтийских болотах. Это отражение моего внутреннего мира. Две реки, текущие на разных уровнях, символизируют ход времени, неумолимое течение жизни.

Он тяжелее оперся на своих спутников, усталость брала своё.

— Но довольно о технике и поэзии. Есть вещи более серьёзные, более прозаичные обстоятельства, но, увы, куда более неотложные.

Они вернулись в центр комнаты, где Леонардо со вздохом облегчения снова опустился в кресло. Один лишь труд пройти несколько шагов теперь изнурял старика.

— Знаете ли вы, что произойдёт после моей смерти?

Они покачали головами, испытывая неловкость перед этим упоминанием страшившего их часа.

— Я вам это открою, и этот урок французского права вам пригодится, поверьте мне. Пригодится больше, чем все художественные наставления, что я мог вам передать. Я, рождённый в Винчи, во Флорентийской республике, подданный тосканского герцога, остаюсь в глазах французского закона чужеземцем. Обеном, как говорят законники этого королевства. А во Франции существует безжалостный закон, столь же древний, как капетингская монархия, именуемый правом обена. Этот закон гласит, что если чужеземец умирает на земле королевства, не получив от короля грамот о натурализации, всё его имущество — без исключения — переходит короне.

Молчание, последовавшее за этим откровением, было тягостным. Эта перспектива, которую он никогда прежде

не рассматривал, предстала перед ними внезапно во всей своей ужасающей реальности.

— Вы хотите сказать, что... что всё это... — пробормотал Мельци, указывая на комнату, — все ваши творения, ваши тетради, ваши приборы...

— Всё это станет собственностью короны в миг моей смерти. Служащие Казначейства, в сопровождении секретарей и нотариусов, явятся составить опись. Они наложат печати, составят протоколы, оценят каждую вещь. Затем увезут мои картины, мои тома, мои приборы, мои книги. Сама моя госпожа Лиза покинет это место, чтобы пополнить королевские собрания.

Салаи рухнул на табурет, оглушённый.

— Но это невозможно! — воскликнул он взволнованно.

— Вы королевский живописец! Франциск Первый вас боготворит! Он подарил вам эту усадьбу, платит вам пенсию в тысячу экю! Уж он-то не допустит применения этого гнусного закона!

— Твоя преданность делает тебе честь, но она ослепляет тебя перед лицом действительности. Думаешь, король, даже самый благосклонный, станет делать исключение из законов своего королевства ради простого художника? Думаешь, его советники не укажут ему на немалую ценность моего имущества?

Он обвёл комнату взглядом, оценивая накопленное здесь художественное и научное богатство.

— Я имел неосторожность за эти годы составить немалое сокровище. Эти полотна, которыми вы любуетесь, эти тетради, что вы изучаете, эти приборы, которыми вы владеете, представляют собой целое состояние. Состояние, которое короне не составит труда конфисковать вполне законно.

Мельци, придя в себя, размышлял.

— Но эти грамоты о натурализации, о которых вы говорите, почему вы никогда их не просили? Король Франциск вас ценит, он бы наверняка вам их даровал!

Горькая улыбка тронула губы Леонардо.

— Ах! Если бы ты знал, как этот вопрос преследует меня уже месяцами! Как я корю себя за свою нерадивость! Я думал об этом, разумеется, но всегда слишком поздно, всегда говоря себе, что время ещё есть. Эти хлопоты представляют собой адскую сложность. Прежде всего нужно направить в Большую королевскую канцелярию подробное прошение, изложив свои заслуги и услуги, оказанные королевству. Это прошение должно быть составлено по самым строгим правилам, безупречной юридической латынью, и подкреплено свидетельствами влиятельных лиц.

Он прервался, закашлялся, затем продолжил:

— Затем, если прошение будет признано приемлемым — что вовсе не гарантировано, — его передают на рассмотрение Королевскому совету. Советники совещаются, проверяют прошлое просителя, справляются о его нравственности, его религиозных взглядах, его верности королевству. Всё это требует времени, много времени.

Франческо слушал это перечисление с растущим отчаянием.

— Сколько времени требуют все эти формальности?

— Если всё пойдёт хорошо, если ни один советник не найдёт к чему придраться, если ни один секретарь не потеряет дело, если ни один завистливый соперник не шепнёт клевету на ухо какому-нибудь вельможе... не менее полугода. Чаще целый год, а порой и дольше. Я расспрашивал королевского секретаря. Он подтвердил мне, что процедура долга и неопределённа.

Леонардо добавил с серьёзностью:

— Но это ещё не всё. Даже если грамоты будут дарованы — если будут, — их ещё нужно проверить в Счётной палате, дабы убедиться, что они не ущемляют прав королевской казны. Затем зарегистрировать в Парламенте, который может отказать по причине формального изъяна. Наконец, утвердить в Казначейской палате. И всё это должно быть исполнено в течение года после пожалования грамот, иначе они утрачивают силу.

Он на миг умолк, устремив взгляд на потрескивающее пламя камина.

— Посмотрите на меня. Моё тело говорит мне, что у меня уже нет впереди шести месяцев, быть может, даже шести недель. Я ждал слишком долго. Слишком поздно предпринимать эти хлопоты. Слишком, слишком поздно. Франческо поднялся, охваченный внезапной решимостью.

— Тогда нужно действовать! Я отправлюсь ко двору завтра же! Я поговорю с королём! Объясню ему безотлагательность положения! Франциск Первый искренне вас любит, он поймёт! Он отдаст распоряжения ускорить процедуры!

— Думаешь, король может принимать такие решения по прихоти? — мягко спросил Леонардо. — Даже если бы он этого хотел, даже если бы он был готов пренебречь обычаями ради меня, ему пришлось бы советоваться со своим советом, со своими финансистами. А они...

Он замялся, словно борясь с собой, прежде чем открыть мучительную тайну.

— И потом... есть ещё кое-что. Нечто, чего я вам никогда не доверял, дабы не тревожить вас.

Они склонились к учителю, заинтригованные.

— Три недели назад ко мне явился посетитель... посетитель показательный. Придворная особа, одетая в чёрное, как подобает людям мантии. Это был мэтр Гийом де Монкорне, главный писец Казначейской палаты.

Леонардо заново переживал эту неприятную сцену, и Франческо мог прочесть на его лице отвращение, внушённое этим гостем.

— Этот человек беседовал со мной о моих творениях, об их красоте, об их ценности. Он задавал мне точные вопросы о моём имуществе, моих доходах, моих замыслах. Затем, с той ловкостью, что свойственна людям закона, он вплёл в разговор намёки на моё положение чужеземца.

— Какие намёки? — спросил Франческо, предчувствуя худшее.

— Он дал мне понять, со всем лицемерием, на какое способны подобные люди, что моё прошение о натурализации рискует быть встречено... неблагоприятно. Он говорил о *«законных заботах королевской казны»*, о *«досадных прецедентах, которых следовало бы избегать»*.

— Как это? — возмутился Салаи. — Каких прецедентах? Кто посмел бы противиться такому прошению?

— Люди весьма влиятельные. Люди, имеющие доступ к королевскому уху и говорящие себе: *«Зачем облегчать передачу этих богатств чужеземным наследникам, если право обена может вернуть их в казну королевства?»*. Советники, полагающие моё имущество слишком ценным, чтобы ускользнуть от короны, видящие в моей смерти удачу — уместное слово, — способную обогатить королевские собрания без единого су расходов.

Глухой гнев вскипел в Франческо.

— Это отвратительно! Эти люди наживаются на вашей смерти! Они ждут, пока вы испустите дух, чтобы завладеть вашими сокровищами!

— Без сомнения. Но это люди влиятельные, знающие все механизмы королевской администрации. А мы — кто мы перед ними? Художники без покровительства, без собственного состояния, без прочной политической опоры. Король меня ценит, это правда. Но что значит расположение государя перед интересами королевских финансов?

Леонардо в последний раз взглянул на Джоконду, словно желая запечатлеть в памяти это творение, вобравшее в себя всю его художественную философию.

— Я провёл жизнь, творя красоту, ища истину в искусстве и науке. Но я пренебрёг прозаическими сторонами существования. Никогда не задумывался о том, чтобы создать себе крут влиятельных знакомств, обхаживать сильных мира сего. Эта наивность дорого обойдётся тем, кого я люблю больше всего на свете.

Он поднёс здоровую руку ко лбу, словно раздавленный тяжестью раскаяния.

— Сколько раз я говорил себе: *«Завтра я составлю это прошение. На следующей неделе навещу того влиятельного советника. В следующем месяце начну хлопоты»*. А недели проходили, месяцы утекали, и теперь уже поздно. Поздно действовать по закону. Не остаётся ничего иного, кроме...

Он оборвал фразу на полуслове, словно не решаясь переступить незримую черту.

Салаи, растроганный, опустился на колени у кресла, положив руку на предплечье человека, который подобрал его, воспитал, любил как отца.

— Не мучьте себя так. Вы создали сокровища, которые переживут века! Вы двинули вперёд искусство и науку! Что нам за дело до материальных благ? Мы справимся, мы сумеем передать дальше ваше учение...

— Ты не понимаешь всей тяжести бедствия, что нам грозит, — перебил его Леонардо с внезапной горячностью. — Речь не только о том, чтобы оставить вас в нужде — хотя и эта перспектива меня не радует. Речь о том, чтобы увидеть рассеянным, погубленным незаменяемое интеллектуальное и художественное наследие.

Он выпрямился в кресле, охваченный энергией, удивившей его учеников.

— Оглядитесь вокруг! Эти тетради хранят тайны моих исследований! Я запечатлел в них наблюдения, которые врачам предстоит заново открывать ещё долго! Строение сердца, работу глаза, механику мышц!

Он дрожащим жестом указал на стопки томов, разложенных на столах.

— Эти рисунки раскрывают неведомые живописные приёмы! Тайну sfumato, загадки воздушной перспективы, искусство лепить плоть тенями! Эти макеты являют машины, которые изобретут лишь через сто лет! Летательные аппараты, боевые колесницы, подвижные мосты, оросительные системы!

Он с трудом поднялся и направился к столу, где были разложены рисунки поразительной сложности.

— Вот, эти этюды о полёте птиц! Я открыл принципы, которые однажды позволят людям подняться в воздух! Полюбуйтесь этими расчётами подъёмной силы, механики парения! Я понял, что воздух ведёт себя подобно воде, что он способен удержать тело, если тело имеет надлежащую форму!

Франческо взволнованно разглядывал эти рисунки, чьё рождение под пером Леонардо он наблюдал, эти страстные изыскания, занимавшие его месяцами, а то и годами.

— Здесь, — продолжал Леонардо, указывая на другие листы, — мои исследования об истечении жидкостей! Они перевернут искусство строить каналы и плузы! Здесь я объясняю, почему вода закручивается в излучинах рек, как предвидеть паводки, как избежать заливания портов! Эти принципы всеобщи, они применимы ко всему, что течёт!

Франческо смотрел на учителя, открывая в нём страсть, безотлагательность, каких прежде не видел с такой силой.

— А эти листы! Эти рисунки сердца, глаза, мозга, мышц, костей...

— Ах, эти листы! — воскликнул Леонардо с болезненной гордостью. — Я обнаружил, что сердце имеет четыре полости, а не две, как учат трактаты Аристотеля и Галена! Я проник в тайны зрения, объяснил, почему мы видим цвета, как формируется изображение на сетчатке, почему далёкие предметы кажутся голубоватыми! Я вскрывал людей — мужчин и женщин, стариков и юношей, здоровых и больных!

Он обернулся к своим подопечным, лицо его было искажено тревогой.

— Всё это будет рассеяно, продано невежественным собирателям, которые увидят лишь красивые рисунки, или того хуже — упрятано в сырые библиотеки, куда никому не придёт в голову заглянуть. Мои технические тайны умрут вместе со мной. Мои научные открытия канут в забвение. Врачи будут по-прежнему пускать кровь больным по устарелым методам. Инженеры будут строить каналы, которые занесёт песком. Люди останутся прикованными к земле, хотя я указал им путь в небо!

Снаружи слышались весёлые крики крестьян, работавших в полях поместья, пение петуха на птичьём дворе, дальний звон колоколов часовни Сен-Флорентен. Весь этот

мирный мир не подозревал о драме, разыгрывавшейся в усадьбе.

Мельци обводил мастерскую новым взглядом, вдруг осознав всё величие заключённых в ней богатств. Сколько часов он провёл, изучая эти тетради, разгадывая это зеркальное письмо, приобщаясь к тайнам леонардовой науки! Сколько страстных бесед вёл он с учителем об этих открытиях, переворачивавших его взгляд на мир!

— Должен же существовать способ спасти хотя бы часть этого наследия, — произнёс он изменившимся голосом. — У вас есть друзья при дворе, почитатели среди вельмож королевства...

— Мои друзья, мои почитатели? — воскликнул Леонардо. — Где они, когда они мне нужны? Кардинал Амбуазский, покровительствовавший моим исследованиям и понимавший их ценность, умер девять лет назад. Флоримон Робертэ, министр финансов, понимавший мои градостроительные замыслы, тяжело болен. Мои покровители исчезают один за другим, и я остаюсь один перед алчностью придворных и чиновников Казначейства.

Он продолжал, изнурённый этой долгой тирадой.

— И потом, даже если бы у меня ещё оставались покровители, что бы они могли сделать? Закон есть закон. Право обена применяется неотвратно. Даже король не может отступить от него, не создав опасного прецедента. Его советники непременно указали бы ему: если сделать исключение для итальянского художника, почему не для фламандского купца? Для немецкого банкира? Где остановиться?

Салаи, молчавший до этого мгновения, приблизился с новой решимостью, с необычным блеском во взгляде.

— А если... а если бы мы нашли способ изъять несколько творений из этой описи? Если бы мы спрятали самые драгоценные из ваших полотен до прихода королевских служащих?

Леонардо взглянул на него с удивлением, обескураженный этим дерзким предложением, переступавшим черту, которую он до сих пор не смел даже помыслить.

— Что ты хочешь сказать?

— Я хочу сказать, что некоторые вещи могли бы оказаться... временно отсутствующими в решающий миг. Что несколько полотен, несколько тетрадей ускользнут от взоров королевских служащих. Что они исчезнут прежде, чем за ними придут для конфискации.

Франческо понял, куда клонит Салаи, и сердце его забилось чаще, в смеси волнения и страха.

— Он прав! — подхватил Франческо. — Мы могли бы спрятать самые драгоценные творения! В конце концов, разве не естественно, что ваши самые близкие спутники получили от вас за эти годы несколько вещей в знак вашей привязанности? Разве не в порядке вещей, что некоторые тетради находятся в наших собственных жилищах, для наших личных занятий? Кто мог бы доказать, что они нам не принадлежат?

Леонардо был смущён этим предложением, задевавшим его совесть человека в целом честного, несмотря на все уловки и ухищрения, к которым ему порой приходилось прибегать, чтобы выжить в безжалостном мире итальянских дворов.

— То, что вы предлагаете... весьма опасно. Если бы раскрыли вашу уловку, вам грозили бы темница, а то и виселица. Присвоение имущества, причитающегося короне, почитается преступлением оскорбления величества. С этим не шутят.

— Кто это обнаружит? — настаивал Салаи. — Эти королевские служащие не знают точного содержания вашей мастерской. Они составят опись того, что увидят, а не того, что должно там находиться. Как они могут догадаться о недостатке вещей, которых никогда не видели? Леонардо долго оставался безмолвен, взвешивая доводы своих спутников. Его взгляд обегал мастерскую, останавливаясь на каждом творении, каждой рукописи, словно он оценивал, что можно спасти, а чем придётся пожертвовать в пользу королевской казны.

— Понимаете ли вы, о чём вы меня просите? — произнёс он наконец. — Вы просите меня стать соучастником обмана короля, что приютил и пенсионил меня три года. Вы просите меня предать доверие Франциска Первого, обошедшегося со мной с несравненным великодушием.

— Мы вас ни о чём не просим, — мягко ответил Франческо. — Мы просто предлагаем вам закрыть глаза на то, что сделают два верных ученика, дабы спасти наследие своего возлюбленного учителя. Вам не придётся ничего делать, ничего говорить. Мы будем действовать одни, одни возьмём на себя риск. Вы даже сможете утверждать, что не знали о наших поступках, если нас когда-либо разоблачат. Эти слова тронули Леонардо. Он ценил обоих этих людей, посвятивших ему лучшие годы своей жизни, следовавших за ним во всех его скитаниях, отказавшихся от собственных честолюбивых замыслов ради служения его искусству и его науке.

Франческо, этот миланский дворянин, оставивший всё из любви к искусству, владевший кистью с такой тонкостью, понимавший тонкости перспективы лучше многих признанных мастеров. Салаи, этот уличный мальчишка, ставший законченным художником, растиравший краски по своим тайным рецептам, знавший наизусть все его

тетради, ходивший за ним во время болезней с безграничной преданностью.

— Вы знаете, что я люблю вас, как сыновей, которых у меня никогда не было, — прошептал он сдавленным голосом. — Вы были моим утешением в трудные минуты, моей гордостью в часы славы, моей отрадой в этой угасающей старости. Если вы полагаете, что некоторые из моих творений могут быть лучше сохранены в ваших руках, нежели в руках королевских управляющих... поступайте же по вашей совести.

Он поднял здоровую руку в жесте, похожем на благословение, а быть может, на прощание.

— В конце концов, эти труды я создавал столько же для вас, моих верных спутников, сколько для потомства. Вы участвовали в их создании, вы делили со мной радости и разочарования при их рождении. Если вам удастся спасти некоторые из них от когтей королевской администрации...

Он оборвал фразу, не в силах произнести слова, которые сделали бы его соучастником кражи.

Франческо и Салаи обменялись понимающим взглядом. Замысел обретал форму в их умах, но они знали, что действовать нужно будет с осторожностью и хладнокровием.

— Но берегитесь, — добавил Леонардо со внезапной серьезностью, взгляд его вдруг прояснился. — Будьте осторожны. Будьте разумны. Не будьте слишком жадны в выборе. Нужно оставить в мастерской достаточно вещей, дабы опись выглядела убедительно, дабы королевские служащие остались довольны своей добычей. Если мастерская покажется опустошённой, у них возникнут вопросы, они начнут расследование, и вы погибнете.

Он обратил взгляд к Джоконде.

— И главное... главное, никогда не трогайте мою Даму. Это полотно знаменито, известно любителям искусства. Придворные восхищались им во время визитов в усадьбу, учёные люди писали о нём, живописцы приезжали его изучать. Сам король говорил о нём при дворе, выражал желание однажды им обладать. Его исчезновение встревожит власти, и они перевернут всю Францию, чтобы его найти. Они будут преследовать вас хоть до самой Италии, если понадобится.

— Мы это знаем, — подтвердил Франческо. — Джоконда должна остаться. Она слишком заметна, слишком желанна. Но мы можем спасти другие вещи: ваши анатомические этюды, которые, кроме нас, никто не умеет читать, ваши рисунки изобретений, которые придворные примут за бесценные каракули, ваши научные тома, чьей важности они не поймут, несколько полотен, менее известных публике, но поразительной красоты.

— Эту неоконченную Святую Анну, — добавил Салаи, — этого Иоанна Крестителя со столь тревожащими глазами, эту Леду с лебедем, которую вы написали в Риме и которая возмущает благонравных... Об этих творениях мало кто знает. Они могут исчезнуть, не вызвав подозрений.

Леонардо устало, но и с облегчением кивнул. По крайней мере, часть его наследия уцелеет, перейдя в любящие руки, которые сумеют её сохранить, лелеять, быть может, даже познакомить с ней мир, когда придут более благоприятные времена.

— Так делайте же. Но обещайте мне одно: что бы ни случилось, следите, чтобы эти творения никогда не были утрачены. Передайте их своим наследникам, завещайте их просвещённым любителям, продайте, если нужно, почтительным собирателям, способным их оценить, но никогда не дайте красоте умереть в забвении. Никогда не

дайте моим научным открытиям затеряться в пыли чердаков.

— Мы вам обещаем, — произнесли оба ученика, растроганные до слёз торжественностью этого обета.

Он слабо улыбнулся, успокоенный этим обещанием, придававшим смысл его близкой смерти.

— А теперь дайте мне отдохнуть. Я устал. Так устал. Но по крайней мере я умру спокойнее, зная, что вы позаботитесь о самом дорогом, что у меня есть на этом свете.

Эти слова стали почти последними, что он произнёс в ясном сознании. В последовавшие часы его состояние быстро ухудшилось. Он погрузился в полузабытьё, порой бормоча бессвязные слова по-тоскански, вычерчивая в воздухе здоровой рукой незримые формы, что видел лишь он один, вновь переживая, быть может, в бреду великие часы своей жизни.

Оба мужчины больше не покидали его изголовья. Они давали ему пить, пока он ещё мог, отирали ему лоб полотенцами, поправляли одеяла, поддерживали огонь в камине. Порой Леонардо, казалось, приходил в себя и устремлял на них свои синие глаза, всё ещё пронзительные, несмотря на лихорадку, словно хотел навеки запечатлеть их лица в своей памяти перед ожидавшей его вечностью.

Вечером 1 мая его состояние, казалось, слегка улучшилось. Он выпил немного бульона, который Франческо подносил ему ложкой, произнёс несколько внятных слов о красоте заката, видневшегося в окне, попросил принести ему зеркало, чтобы увидеть своё лицо. Мельчи на миг понадеялся, что это улучшение — знак чудесного выздоровления, что учитель ещё раз обманет подстерегавшую его смерть.

Но вечером 2 мая 1519 года, когда колокола замковой часовни звонили к вечерне, а заходящее солнце заливало окна мастерской нереальным золотистым светом, Леонардо да Винчи испустил последний вздох с мирной улыбкой на устах, словно наконец нашёл ответ на все тайны, что преследовали его шестьдесят семь лет.

Они долго оставались недвижны у тела, не в силах осознать случившееся. Смерть унесла величайшего гения их эпохи, а они оставались здесь, одни в этой мастерской, что вдруг показалась пустой, несмотря на все хранившиеся в ней сокровища.

— Он ушёл, — прошептал Франческо надломленным голосом, слёзы свободно текли по его щекам. — Он покинул нас. Учителя больше нет.

Салаи положил дрожащую руку на ещё тёплый лоб покойного. Он бережно закрыл ему веки, свершив этот последний жест с нежностью.

— Пусть покоится с миром. Он завершил свой земной путь. Теперь наш черёд исполнить свой долг. Наш черёд спасти то, что он нам доверил.

Эти слова вернули Франческо к действительности их положения. Скорбь о потере придётся отложить. Неотложное дело было в другом. Время играло против них.

— Сколько у нас времени? — спросил он побелевшим голосом.

Салаи выпрямился, переходя от горя к решимости, глаза его высохли, лицо приняло сосредоточенное выражение.

— Весть быстро разнесётся. Слуги заметят его смерть. Кто-нибудь из них отнесёт печальную новость в замок. Пока гонцы известят власти, пока служащие Казначейства соберутся сюда... от силы несколько часов. Они будут здесь завтра на рассвете, а то и раньше, если этот

Монкорне так рьян, как о нём говорят. Мы должны действовать этой ночью. У нас есть только эта ночь.

Франческо обошёл мастерскую, оценивая, что можно успеть спасти за столь ограниченное время.

— У нас нет времени взять всё. Иди за сундуками, холщовыми мешками, одеялами — всем, что может послужить для незаметной перевозки вещей. Я тем временем составляю опись того, что мы должны спасти.

Салаи замешкался, в последний раз глядя на безмятежное лицо Леонардо.

— Но... а он? Мы не можем оставить его так, одного, без бдения, без молитв...

— Мы вернёмся заняться им позже, — твёрдо ответил Франческо. — Сейчас мы должны исполнить его последнюю волю. Спасти его наследие. Он бы этого хотел. Именно об этом он нас просил.

Салаи кивнул, признавая правоту этого довода. Он покинул мастерскую, чтобы принести необходимое для их предприятия.

Мельци, оставшись один с телом, в последний раз опустил на колени у кресла, где покоился Леонардо.

— Простите, учитель. Простите, что не могу бдеть над вами, как подобает, с молитвами и свечами, какие заслуживает ваше величие. Но клянусь вам, мы спасём то, что можно спасти. Ваш гений не умрёт вместе с вами. Ваши открытия переживут вас. Клянусь честью, жизнью, всем, что для меня свято.

Он поднялся, резким движением отёр глаза и с жаром принялся за дело.

В последовавшие часы Франческо и Салаи трудились в напряжённой тишине, нарушаемой лишь звуком их шагов по каменным плитам и шелестом бумаги и ткани. Каждое движение было рассчитано, каждое решение тщательно

взвешено, каждый жест должен был быть одновременно быстрым и осторожным.

Франческо составил в уме список первоочередных вещей — плод долгих лет, проведённых рядом с учителем за изучением его наследия. Прежде всего тетради — они были незаменимы, единственны в своём роде, плод двадцати пяти лет тайных и опасных изысканий. Затем этюды о полёте — эти провидческие открытия об аэродинамике, опережавшие развитие науки на несколько столетий. Труды о движении жидкостей.

С картинами выбор был более деликатен, более мучителен. Джоконда, как указал Леонардо, должна была остаться. Её исчезновение вызвало бы расследование, привело бы в действие все средства короны, дабы её отыскать. Святая Анна также была слишком известна, слишком заметна, слишком почитаема во время визитов придворных. Но был ещё Иоанн Креститель с глазами, обращёнными к небу, полотно тревожащее, почти скандальное своей андрогинной чувственностью, которое видели немногие посетители, ибо Леонардо часто держал его скрытым. И была эта Леда с лебедем, чувственная картина, написанная в Риме, чья языческая мифология и эротизм смущали благонравных, которую он всегда отказывался показывать духовным лицам.

— Возьми Иоанна Крестителя, — тихо распорядился Франческо, словно опасаясь, что их услышат, несмотря на поздний час. — Заверни его в это льняное полотно. В несколько слоёв. Защити углы. Мы отнесём его в твоё жильё до рассвета.

— А Леда?

Франческо колебался. Это полотно было одним из самых совершенных за последние годы. Его языческий мифологический сюжет, его чувственность делали его творением спорным, способным привлечь внимание.

— Да, возьми и её тоже. Но спрячь хорошенько. Лучше, чем хорошенько. Если церковные власти узнают, что она у нас, они могут захотеть конфисковать её за безнравственность, а то и уничтожить. Она должна исчезнуть.

Они продолжили свою методичную работу. Самые важные тома упаковали в кожаные ящики, обитые изнутри фетром. Франческо позаботился оставить в мастерской достаточно тетрадей, дабы опись казалась внушительной. Он отобрал самые впечатляющие внешне — покрытые рисунками невиданных машин, сложными геометрическими фигурами, подробными анатомиями, но наименее важные в научном отношении. Те, что впечатляют королевских служащих, не раскрывая подлинных знаний.

С рисунками он проявил рассудительность, тактическую сметливость, обострённую спешкой. Он оставил этюды драпировок, подготовительные портреты, живописные композиции, пейзажи — всё, что имело художественную ценность, очевидную и понятную непосвящённым. Но спас подробные этюды, технические чертежи машин, архитектурные планы, ботанические изыскания — всё, что содержало бесценные научные знания, но чего не сумели бы оценить невежественные чиновники.

— Смотри, — объяснял он Салаи, указывая на стены. — Мы снимаем вот эти рамы, но оставляем эти на самом видном месте. Нужно, чтобы следов на стенах было не слишком много. Служащие должны видеть, что мастерская ещё хорошо наполнена, что их добыча значительна.

Салаи кивнул, понимая замысел. Идея была не в том, чтобы опустошить мастерскую, что вызвало бы подозрения, а в том, чтобы создать видимость целостности, спасая при этом главное. Равновесие между спасением и сокрытием.

Он внимательно оглядел стены, отмечая, какие рамы останутся, а какие исчезнут. Франческо был прав: мастерская должна была сохранить свой привычный вид, тот кажущийся беспорядок, что всегда отличал рабочее пространство учителя. Служащие Казначейства ни в коем случае не должны были почувствовать, что здесь навели порядок, что-то отобрали, что-то отсортировали. Всё должно было выглядеть естественно, неизменным со времён жизни покойного.

— Взгляни на эти стопки рисунков на столе, — указал Франческо на несколько связок разрозненных листов. — Половину мы оставляем, в беспорядке, будто Леонардо только что их разглядывал. Другую половину забираем, но следим, чтобы оставшиеся были достаточно эффектны, дабы удовлетворить любопытство инспекторов.

Он перебрал стопки, точно отделяя то, что должно уйти, от того, что должно остаться. В кипу, предназначенную для королевской описи, он поместил этюды гротескных голов — те карикатуры, что Леонардо любил рисовать и что всегда поражали посетителей своей выразительностью, — композиции для никогда не написанных битв, этюды коней и всадников, пейзажи с фантастическими скалами.

Но в кипу, предназначенную для спасения, он вложил подлинные сокровища: листы с изображением вскрытой руки со всеми мышцами, сухожилиями и нервами, помеченными с научной точностью; этюды механики полёта, показывающие, как под крылом птицы создаётся подъёмная сила; схемы машин для оросительных систем с расчётами расхода и давления; геологические наблюдения о формировании гор и размывании долин.

— Видишь разницу? — спросил он у наблюдавшего за ним Салаи. — То, что мы оставляем, — это произведения искусства. Прекрасные, разумеется, но которые способен

оценить любой любитель. То, что мы спасаем, — это документы, чья ценность будет понята лишь учёными, быть может, через сто лет, быть может, через двести. Королевские служащие примут оставленные нами рисунки за вершину искусства Леонардо. Они даже не узнают, чего лишились.

Салаи кивнул. У Франческо всегда был этот дар — понимать не только искусство учителя, но и глубину его мысли. Сам он, несмотря на годы, проведённые рядом с Леонардо, никогда не постигал всей плотности анатомических или механических изысканий. Он был художником, умелым живописцем, ловким копиистом. Но Франческо был иным: в нём была та умственная любознательность, та строгость, что позволяла ему следовать самым сложным рассуждениям старого тосканца.

— А переплетённые тетради? — осведомился Салаи, указывая на шкафы, где выстроились десятки томов.

— С тетрадями сложнее. Слишком много, чтобы унести всё. К тому же их исчезновение будет слишком заметно. Нет, нужно действовать хитрее.

Он на миг задумался, затем лицо его прояснилось.

— Вот что мы сделаем. Мы оставим все большие переплетённые тома на самом виду в шкафах. Их служащие увидят, пересчитают, внесут в опись. Их поразит количество, толщина тетрадей. Но чего они не узнают — того, что мы изъяли самые важные страницы.

— Вырывать страницы? — забеспокоился Салаи. — Но разве это не будет заметно?

— Не будет, если сделать это умело. Сам Леонардо часто вырывал страницы из своих тетрадей, чтобы подарить их, переложить, перегруппировать. Его переплёты полны пробелов, недостающих листов, тетрадок, сшитых

задним числом. Это был его обычный способ работы. Служащие не заметят ничего необычного.

Франческо достал первую тетрадь, раскрыл её, просмотрел содержимое страницу за страницей. Это был один из важнейших сборников — тот, где Леонардо изложил свои наблюдения о вскрытии человеческого сердца, открыв дотоле неизвестные строения.

Тем временем Салаи готовил ящики и мешки, в которых предстояло перевозить вещи. Он незаметно спустил с чердака несколько дорожных сундуков из варёной кожи — тех самых, что они использовали во время путешествия из Италии. Прочные, водонепроницаемые, снабжённые крепкими замками, эти сундуки могли уберечь творения во время перевозки.

— Сколько сундуков, по-твоему, мы сможем перевезти, не привлекая внимания? — спросил он у Франческо.

— Шесть, быть может, семь от силы. Нужно, чтобы это выглядело естественно. Мы двое спутников, забирающих кое-какие личные вещи перед прибытием властей. Если мы выйдем из усадьбы с дюжиной сундуков, кто-нибудь это заметит.

— Тогда нужно экономить место. Уложить как можно больше в каждый ящик.

Салаи принялся раскладывать вещи по сундукам. Сначала рукописи, стопками, переложенные листами промасленной бумаги для защиты от влаги. Затем вырванные из тетрадей страницы, рассортированные по темам, связанные шёлковыми лентами, чтобы не перепутались. Самые хрупкие рисунки скручены вокруг деревянных цилиндров, чтобы не помялись. Маленькие полотна сняты с подрамников для экономии места.

Франческо присоединился к нему, бережно неся Иоанна Крестителя.

— Этого мы не можем снять с подрамника. Живопись слишком хрупка, основа слишком стара. Придётся перевозить как есть.

Картина изображала юношу поразительной красоты, палец, указующий на небо, тревожащий взгляд. Это была одна из последних завершённых Леонардо работ, написанная в Риме около 1513–1516 годов, и она хранила всю мощь сфумато мастера в полной его зрелости. Фигура словно выступала из мрака, вылепленная незримым светом, кожа неземной мягкости.

— Он великолепен, — прошептал Салаи. — Каждый раз, глядя на него, я чувствую, будто этот юноша вот-вот сойдёт со своего ночного неба, чтобы присоединиться к нам.

— Именно поэтому мы должны его спасти. Это полотно являет Леонардо на вершине его мастерства. Если эта картина попадёт в невежественные руки, если её плохо сохранят, плохо отреставрируют — исчезнет незаменимое свидетельство.

— А Леда? — спросил Салаи.

Франческо отправился за другим спорным полотном. Оно изображало Леду, царицу Спарты, обнимающую лебедя — Зевса, принявшего этот облик, согласно греческой мифологии. Сцена дышала осязаемой, почти эротической чувственностью: полуобнажённая Леда, прильнувший к ней лебедь, а у их ног — две пары близнецов, рождённых от этого божественного союза: Кастор и Поллукс, Елена и Клитемнестра, вылупляющиеся из гигантских яиц.

— Это полотно всегда смущало людей Церкви, — заметил Франческо, любуясь картиной. — Его языческая мифология, его эротизм... Папа Лев Десятый отказался её видеть, когда Леонардо был в Риме. Некоторые прелаты

даже предлагали уничтожить её как непристойное произведение.

— Тем более причина её спасти, — горячо возразил Салаи. — Я не позволю невежественным ханжам уничтожить такой шедевр.

Леду упаковали с той же тщательностью, что и Иоанна Крестителя, и поместили в другой сундук. Затем настал черёд других, менее известных творений: этюда для Мадонны с прялкой, которую Леонардо так и не закончил, портрета Изабеллы д'Эсте, написанного во время краткого пребывания в Мантуе, нескольких подготовительных панелей для так и не завершённых алтарных образов.

Среди ночи, когда они продолжали свою работу, Франческо сделал паузу. Он только что открыл маленький ларец из драгоценного дерева — тот, где Леонардо хранил свои самые личные вещи. Внутри, завернутые в багряный шёлк, лежали несколько предметов, не имевших никакой рыночной ценности, но огромную ценность душевную.

— Смотри, — сказал он Салаи, вынимая предметы один за другим.

Первым был бронзовый медальон с профилем Катерины, матери Леонардо. Крестьянки из Винчи, что родила его вне брака, что растила его первые годы, пока его не забрал к себе отец-нотариус. Леонардо велел изготовить этот медальон по своим детским воспоминаниям, много лет спустя после смерти матери. Он всегда носил его при себе — талисман утраченного детства.

Затем — золотое кольцо с зелёным камнем, изумрудом или хризолитом, что Лодовико Сфорца подарил Леонардо при его поступлении на службу к миланскому герцогу в 1482 году. Это кольцо символизировало семнадцать лет, проведённых при миланском дворе, — быть может, самые плодотворные годы, когда Леонардо

был на вершине своего творчества и пользовался самым щедрым покровительством.

Была там и маленькая стеклянная склянка с несколькими крупинками земли. Франческо бережно взял её, разглядывая буроватую пыль, слабо мерцавшую при свете свечей.

— Что это? — с любопытством спросил Салаи.

— Земля из Винчи. С холма, где стоял дом его матери. Он доверил её мне однажды вечером. Он собрал эту землю во время своего последнего посещения Тосканы, в 1507 году, когда возвращался уладить дела о наследстве после смерти дяди. Ему больше не суждено было увидеть родную землю.

Франческо взволнованно разглядывал склянку. Эта пыль вбирала в себя всю тоску человека, прошедшего жизнь в скитаниях от двора к двору, всегда чужеземцем, вечно в поисках дома, который ему не суждено было вновь обрести.

— Эти вещи мы тоже должны сохранить. Для служащих Казначейства они не представляют никакой ценности, но они свидетельствуют о человеке, каким был Леонардо, а не только о художнике или учёном.

Он уложил медальон, кольцо и склянку обратно в ларец и поместил его на дно одного из дорожных сундуков, под толстым слоем рукописей.

Часы утекали с ужасающей быстротой. Всякий раз, взглянув в окно, Франческо убеждался, что рассвет близок. Небо на востоке светлело, переходя от глубокой черноты к тёмно-серому, затем к неверной синевато-серой дымке. В садах Кло-Люсе начинали петь птицы. Через несколько часов усадьба проснётся, слуги выйдут из своих комнат, весть о смерти учителя разнесётся повсюду.

— Нужно спешить, — поторопил Франческо. — У нас ещё слишком много дел, а время бежит.

Они удвоили усилия, работая почти в молчании, каждый зная, что ему делать. Долгое сотрудничество, годы, проведённые бок о бок, создали между ними взаимопонимание, не нуждавшееся в словах.

Франческо занялся научными приборами. У Леонардо была замечательная их коллекция: медные астролэбии тонкой гравировки, точные циркули с ветвями из полированной стали, наугольники и градуированные линейки, армиллярные сферы, показывающие движение планет, маленький линзовый телескоп, что он сам собрал для наблюдения звёзд, стеклянные призмы для разложения света, точные весы для взвешивания пигментов.

— У приборов тоже есть своя история, — объяснил Франческо. — Некоторые легко опознать как одолженные учителю друзьями или учреждениями. Другие слишком редки, слишком ценны, чтобы не попасть в опись.

Он отобрал наиболее безымянные вещи — те, что не значились ни в одном официальном реестре, что Леонардо купил или изготовил сам. Самодельный телескоп отправился в один из сундуков — это была уникальная вещь, свидетельство астрономических наблюдений, что Леонардо вёл втайне, опасаясь обвинения в ереси за то, что вглядывался в небеса с помощью рукотворных приборов. Призмы также — Леонардо использовал их, чтобы понять природу игры теней и цветов, ставя опыты, опережавшие труды Ньютона на несколько столетий.

Салаи тем временем занимался пигментами и рецептами красок. Леонардо провёл жизнь, совершенствуя свою технику, смешивая вещества по секретным пропорциям, создавая лаки поразительной прочности. Все эти рецепты были записаны в маленьких тетрадях, что учитель бережно хранил.

— В этих тетрадах — технические тайны, что позволили учителю создать его сфумато, — сказал Салаи, показывая их Франческо. — Точные пропорции льняного масла и скипидара, способ растирания пигментов до предельной тонкости, время просушки между слоями лессировки. Если мы потеряем эти рецепты, никто и никогда не сможет их воссоздать.

— Тогда возьми их. Спрячь хорошенько. Это сокровища не менее драгоценные, чем картины.

Тетрады отправились в сундуки, обёрнутые в вощёное полотно. Вместе с ними Салаи уложил несколько склянок с редкими пигментами, что Леонардо привёз из своих путешествий: афганский лазурит для насыщенной синевы, египетский малахит для глубокой зелени, китайскую киноварь для яркой красноты, аурипигмент для золотистой желтизны.

Когда они закрывали последний сундук, Франческо внезапно осенила мысль, от которой у него похолодело внутри.

— Письма! Мы забыли про письма!

— Какие письма?

— Переписку учителя! За долгие годы он получил сотни писем. Письма от меценатов, друзей, учёных, художников. Некоторые написаны рукой прославленных особ: Лоренцо Медичи, Лодовико Сфорца, Чезаре Борджиа, папы Льва Десятого, самого короля Франциска. А ещё есть письма, которые он написал, но так и не отправил, — черновики, которые он хранил.

Франческо бросился к большому дубовому сундуку, стоявшему в углу мастерской. Он открыл его и вынул несколько связок писем, перевязанных цветными лентами.

— Смотри! Годы переписки! В этих письмах — бесценные сведения о жизни учителя, о его отношениях, о заказах,

что он получал, о художественных и научных спорах его времени.

Он принялся их просматривать, отделяя те, что следовало спасти, от тех, что могли остаться. Официальные письма, касавшиеся заказов или платежей, должны были остаться — их отсутствие заметили бы при описи. Но личные письма, раскрывавшие внутренний мир учителя, его сомнения, его надежды, его мечты, заслуживали сохранения.

Ему попалось на глаза так и не отправленное письмо, адресованное Микеланджело. Странное письмо, одновременно восхищённое и колкое, где Леонардо признавал гений своего соперника, вместе с тем осуждая его резкость, его пренебрежение сфумато, его предпочтение линии в ущерб цвету. Это письмо многое говорило о непростых отношениях между двумя величайшими художниками своего времени.

— Это мы сохраним, — прошептал Франческо.

По мере сортировки Мельци всё яснее понимал, каким незаменимым свидетельством были эти письма. Будущие историки могли бы воссоздать по ним жизнь учителя, его переезды, его замыслы, его связи. Но некоторые содержали сведения слишком компрометирующие или слишком личные, чтобы отдать их на суд королевских чиновников.

Была, в частности, целая переписка с таинственным «*Amico Fidato*», верным другом, чьё имя так и не открылось, но который, похоже, был соучастником в кое-каких деликатных предприятиях. Письма упоминали тайные вскрытия, опыты по оптике, проводившиеся втайне, астрономические наблюдения, которые могли бы счесть ересью. Эту опасную переписку следовало изъять из описи.

— Понимаешь ли ты, — сказал Франческо Салаи, — что эти письма могли бы причинить вред даже после смерти учителя? Что они могли бы запятнать его имя, обвинить его в ереси посмертно?

— Тем более причина от них избавиться. Учитель заслуживает покоиться с миром, без того, чтобы инквизиторы рылись в поисках следов нечестия.

Опасные документы отправились в сундуки. Франческо оставил в дубовом сундуке достаточно писем, чтобы опись упоминала обширную переписку, но позаботился сохранить лишь самые безобидные — те, что не вызывали никаких споров.

Рассвет разгорался. Через окна мастерской проникал серый холодный свет, изгоняя тени ночи. Франческо мысленно свёл счёт дням: было 3 мая 1519 года, следующий день после смерти учителя. Скоро дом проснётся. Слуги обнаружат тело. Придётся послать гонцов в замок, известить власти, устроить похороны.

— Нужно перенести сундуки сейчас же, — объявил он. — Это наш последний шанс. Через час будет уже поздно.

Они подняли первый сундук. Он был тяжёл, ужасающе тяжёл. Вдвоём им удалось донести его до двери мастерской, затем спустить по лестнице, стараясь не шуметь.

Усадьба была безмолвна, погружена в тот глубокий сон, что предшествует рассвету. Лишь скрип балки, стон ступени под их тяжестью нарушали тишину. Франческо задерживал дыхание при каждом шаге, страшась, что откроется дверь, что любопытный слуга их застигнет.

Они вышли из усадьбы через маленькую дверь, выходившую в сады. Утренний воздух был свеж, почти холоден, напоён влагой росы. Лёгкий туман стлался у самой земли, придавая пейзажу нереальный вид. Казалось,

будто весь мир затаил дыхание, сознавая важность этого мгновения.

Жилище Салаи находилось примерно в двухстах шагах от главной усадьбы, по ту сторону огорода. Это был небольшой одноэтажный дом из камня и дерева, что король предоставил в распоряжение *«маленького беса»*, дабы у того было собственное пространство. Салаи обустроил там вторую мастерскую, где писал собственные картины и делал копии творений учителя.

Они перенесли первый сундук в это жилище, внесли его через заднюю дверь, подняли на этаж, где Салаи заранее подготовил тайник. Он вынул несколько камней из северной стены, создав достаточно просторную полость. Стоило вернуть камни на место и заново заделать шов свежим раствором, как никто не смог бы догадаться, что там укрыто сокровище.

— Отлично, — прошептал Франческо, осмотрев тайник.
— Даже если служащие явятся обыскать твоё жилище — что маловероятно, — они ничего не найдут. Пришлось бы разобрать всю стену, чтобы обнаружить сундуки.

Они вернулись в усадьбу за вторым ящиком. Небо продолжало светлеть. Франческо чувствовал, как в нём растёт тревога. Каждая минута увеличивала риск быть обнаруженными. Он уже воображал слугу, вставшего раньше обычного, застигнувшего их с их изобличающим грузом, поднимающего тревогу...

Но в ту ночь удача была на их стороне. Им удалось перенести первые шесть сундуков, не встретив ни единой живой души. Лишь кухонный кот, вышедший на ночную охоту, наблюдал за ними своими светящимися глазами, прежде чем скрыться в кустах.

Седьмой и последний сундук был самым громоздким. В нём лежали снятые с подрамников картины, а также Иоанн

Креститель, всё ещё закреплённый на своей исходной основе. Франческо и Салаи пришлось удвоить осторожность, чтобы не повредить живопись во время перевозки.

Когда они пересекали сад с этим последним грузом, возшло солнце. Оно пробилось сквозь утренний туман, отбрасывая косые лучи, освещающие росу на траве. Петух запел на птичьем дворе, вскоре вторимый другими. Усадьба вот-вот должна была пробудиться.

— Скорее! — поторопил Франческо. — У нас уже мало времени!

Они почти бежали до жилища Салаи, несколько раз чуть не споткнувшись на тропинке. Сундук опасно раскачивался между ними, и Франческо с ужасом воображал, как картины бьются друг о друга внутри, как рвутся полотна, как годы труда обращаются в ничто из-за их спешки.

Последний сундук подняли на этаж и втиснули в тайник в стене. Салаи с поразительной быстротой вернул камни на место. За несколько минут стена вновь приобрела свой обычный вид. Франческо приготовил раствор из извести и песка, заполнил швы, разгладил поверхность.

— Теперь нужно, чтобы этот раствор высох прежде, чем кто-либо придёт осмотреть жилище, — сказал он.

— Он быстро высохнет на дневной жаре. И вообще, зачем служащим обыскивать моё скромное жилище? Именно в усадьбе находится сокровище, именно там они сосредоточат свои усилия.

Франческо кивнул, желая верить своему товарищу. Но тревога не покидала его. Они только что совершили тяжкий поступок — кражу у короны, каравнуся самыми суровыми казнями. Если правда когда-нибудь откроется...

— Не думай о худшем, — ободрил его Салаи, угадав его мысли. — Мы сделали то, что должно было быть сделано. Теперь вернёмся в усадьбу. Нужно, чтобы мы были там, когда слуги обнаружат тело. Нужно, чтобы всё выглядело обычно.

Они пошли обратно быстрым, но не поспешным шагом. Сад просыпался. Птицы перепархивали с ветки на ветку, бабочки начинали свой утренний танец, роса блестела на каждой травинке. Стояло прекрасное майское утро, мягкое и светлое, в полном противоречии с драмой, разыгравшейся в усадьбе.

Когда они вернулись в мастерскую, Франческо в последний раз обвёл взглядом помещение. Он должен был убедиться, что всё выглядит в порядке, что ничто не выдаёт их ночной работы. Шкафы были полны тетрадей — пусть и лишённых самых ценных страниц, но всё ещё впечатляющих своим объёмом. Стены были покрыты рисунками — пусть и не самыми важными в научном отношении, но самыми эффектными внешне. Столы были завалены приборами, палитрами, кистями.

А в центре, на своём мольберте, Джоконда смотрела на них своей загадочной улыбкой. Франческо в последний раз подошёл к портрету, любуясь этим лицом, что сопровождало столько лет их жизни.

— Простите, что мы вас покидаем, — прошептал он, обращаясь к написанной Даме. — Но вы попадёте в добрые руки. Король Франциск будет вас любить, оберегать. Быть может, вы станете самым знаменитым творением учителя, символом его гения на грядущие века. Это прекрасная судьба.

Он отступил на несколько шагов, наблюдая, как утренний свет играет на поверхности картины, обнажая сложность моделировки, неприметные переходы между тенями и освещёнными участками.

Салаи оторвал его от созерцания.

— Франческо, пора идти. Слуги вот-вот встанут. Мы должны быть в наших комнатах, когда обнаружат тело.

— Ты прав. Но сначала...

Франческо подошёл к телу Леонардо, всё ещё сидевшему в кресле, где его застигла смерть. Он поправил одежду покойного, разгладил складки чёрного бархатного одеяния, скрестил ему руки на груди. Полотенцем он отёр лицо, стерев следы пота и лихорадки. Он хотел, чтобы учитель выглядел достойно, безмятежно, почти уснувшим.

— Вот, учитель. Вы готовы принять ваших посетителей. Покойтесь с миром. Мы исполнили вашу последнюю волю.

Салаи тоже подошёл к телу. Он положил руку на плечо покойного, постоял мгновение молча, затем прошептал несколько слов на миланском наречии, которых Франческо не совсем понял. Это была, вероятно, молитва его детства, что-то, чему научила его мать, прежде чем он стал тем *«маленьким бесом»*, что промышлял на улицах Милана.

Затем они покинули мастерскую, каждый вернулся в свою комнату. Франческо бросился на кровать одетым, пытаясь создать видимость, будто только что проснулся. Сердце его колотилось бешено, адреналин этой напряжённой ночи всё ещё бурлил в его жилах. Он закрыл глаза, глубоко вздохнул, попытался успокоиться.

Сколько времени прошло так? Полчаса? Час? Франческо потерял счёт времени, паря в этом странном состоянии между бодрствованием и сном, изнеможением и нервным напряжением.

Именно крик вернул его к действительности. Женский крик, пронзительный и раздирающий, что прокатился по всей усадьбе. Кухарка только что поднялась в мастерскую

с завтраком учителя — как делала это каждое утро — и обнаружила тело.

Франческо вскочил с кровати, бросился в коридор. Салаи вышел из своей комнаты с заспанным лицом, но настороженными глазами. Они побежали к мастерской, к ним присоединились другие слуги, встревоженные криком.

Кухарка, дородная женщина по имени Маргерит, стояла на коленях перед креслом, громко рыдая. Служанки застыли на пороге, не смея войти, нервно осеняя себя крестным знаменiem. Прибежали садовник и конюх, снимая шапки в знак почтения перед смертью.

Мельци подошёл к телу, положил руку на шею Леонардо, ища пульс, который заведомо не мог найти. Затем он обернулся к собравшимся слугам, с серьёзным лицом, голосом, сдавленным чувством, что вовсе не было притворным.

— Учитель мёртв. Он покинул нас этой ночью. Да упокоит Бог его душу.

Ропот смятения пронёсся среди собравшихся. Одни плакали открыто, другие застыли в почтительном молчании. Леонардо был добрым господином, щедрым к своим людям, никогда не был груб или высокомерен. Слуги искренне его любили.

— Нужно известить замок, — объявил Франческо, беря на себя управление положением. — Реми, беги в королевский замок и извести власти о кончине мессира Леонардо. Скажи им, что мы ждём их указаний насчёт похорон и... и прочих формальностей.

Садовник кивнул и бросился бежать, обрадованный, что у него есть конкретное дело, которое уводило его от этой сцены смерти. Франческо обернулся к служанкам.

— Вы обе, приготовьте тело. Омойте его, оденьте в его лучшие одежды. Он должен выглядеть достойно, когда придут власти. А вы, Маргерит, перестаньте плакать и идите готовить большую залу. Туда нужно будет поставить тело для похоронного бдения.

Слуги засуетились, довольные, что есть приказы, которым нужно следовать, дела, которые нужно исполнить, отвлекавшие их от горя. Франческо и Салаи на мгновение остались одни в мастерской.

— Хорошо сыграно, — прошептал Салаи. — Теперь никто не подумает задавать нам неудобные вопросы.

— Не радуйся раньше времени. Самое трудное ещё впереди. Когда придут королевские служащие, когда они начнут свою опись, вот тогда наша история пройдёт настоящее испытание.

— У нас есть связная, правдоподобная версия. Мы будем её придерживаться.

Последовавшие часы прошли в вихре хлопот. Тело Леонардо омыли, облачили в пурпурное бархатное одеяние, что он надевал лишь по великим случаям. Служанки причесали его, подстригли ему бороду, придали ему вид безмятежного достоинства. Затем тело перенесли в большую залу первого этажа, положили на стол, покрытый белым льняным полотном, окружили свечами, отбрасывавшими дрожащий свет на стены.

Едва весть разнеслась по Амбуазу, начали стекаться посетители. Ремесленники, работавшие на Леонардо, купцы, продававшие ему припасы, учёные люди, беседовавшие с ним, священнослужители часовни Сен-Флорентен, пришедшие молиться за упокой его души. Все приходили засвидетельствовать почтение, преклонить колена перед телом, шептать молитвы.

Франческо и Салаи принимали посетителей, принимали соболезнования, рассказывали о последних часах учителя. Их скорбь была искренней, их слёзы были настоящими. Но под этой подлинной болью — непрерывная бдительность, внимание к малейшим подробностям.

Около полудня к усадьбе явилась внушительная процессия. Сам Франциск Первый прибыл почтить память покойного. Молодой король, одетый в чёрное в знак траура, был в сопровождении своей сестры, нескольких советников и свиты стражи.

Франческо и Салаи опустились на колени, когда король вошёл в большую залу. Франциск медленно приблизился к телу, долго вглядывался в безмятежное лицо Леонардо, затем сам преклонил колена, сложил руки и молился безмолвно несколько минут.

Когда он поднялся, Франческо заметил, что у короля покраснели глаза. Волнение было искренним. Франциск любил старого учителя, и эта смерть глубоко его тронула.

— Мессир Франческо, — спросил король изменившимся голосом, — когда именно он скончался?

— Этой ночью, государь, вечером 2 мая. Он угас безмятежно, без видимых страданий. Сердце его просто перестало биться.

— Он был в сознании до самого конца?

Франческо на долю секунды замешкался. Стоит ли упоминать их последний разговор, распоряжения учителя насчёт его творений? Нет, лучше оставаться в неопределённости.

— У него были минуты ясности, сменявшиеся периодами забытья, государь. Но в последние часы он казался умиротворённым, будто принимал то, что его ждало.

Франциск кивнул, отирая слезу.

— Он был человеком выдающимся. Франция имела честь принять его в последние годы его жизни, и мы ему за это благодарны.

Он обернулся к своим советникам.

— Я хочу похороны, достойные его величия. Он будет погребён в часовне Сен-Флорентен, на кладбище, прилегающем к замку. Пусть подготовят торжественную церемонию. Пригласят всех художников и учёных королевства.

— Слушаюсь, государь, — согласился один из советников, делая заметку.

Франциск обернулся к Франческо.

— А вы двое, его верные спутники, что с вами станется теперь, когда вашего учителя больше нет?

— Мы... мы ещё не знаем, государь. Быть может, вернёмся в Италию, в Милан, где у нас ещё есть родные. Но пока нам нужно заняться делами учителя, привести в порядок его бумаги...

— Разумеется. Не торопитесь. Вас не изгонят из усадьбы. Вы сможете оставаться там столько, сколько потребуется, чтобы уладить дела мессира Леонардо.

— Благодарим вас за вашу доброту, государь.

Франциск сделал несколько шагов по зале, словно раздумывая. Затем обернулся к человеку в чёрной мантии, стоявшему чуть позади. Это был мэтр Гийом де Монкорне, пиисец Казначейской палаты, о котором Леонардо говорил им несколько дней назад.

— Мэтр де Монкорне, — распорядился король, — вы проследите, чтобы имущество покойного мессира Леонардо было описано по всем законным правилам. Я хочу полную опись всего, чем он владел. Его картины, рукописи, приборы — всё должно быть внесено в реестр.

— Слушаюсь, государь. Мы приступим к описи как можно скорее. Скажем... через три дня после похорон?

— Это кажется мне разумным. Дайте этим бедным юношам время оплакать своего учителя.

Монкорне поклонился с расчётливой угодливостью, но Франческо уловил в его взгляде проблеск удовлетворения, почти алчности. Этот человек знал, что вот-вот наложит руку на немалое художественное и научное сокровище, и эта перспектива его радовала.

После отъезда короля и его свиты Франческо и Салаи остались одни в большой зале, всё ещё дрожа.

— Три дня, — прошептал Салаи. — Нам дают три дня перед описью. Это больше, чем я надеялся.

— Три дня, чтобы отточить нашу историю, чтобы удостовериться, что ничто не хромает в нашей версии событий. Но также три дня, прожитых в тревоге, в высматривании малейшего признака, что кто-то что-то заподозрил.

— Никто ничего не подозревает. Смотри, как король обошёлся с нами по-доброму и с уважением. В его глазах мы всего лишь два убитых горем спутника, не более.

— Будем надеяться, что у Монкорне тот же взгляд на вещи. Следующие три дня были тягостны. Тело Леонардо оставалось выставленным в большой зале усадьбы, окружённое свечами, отбрасывавшими дрожащий свет на стены.

Франческо и Салаи сменяли друг друга у тела, принимая посетителей, принимая соболезнования, рассказывая о последних часах учителя.

Вечером второго дня бдения они остались одни в большой зале, изнурённые нескончаемой чередой посетителей.

— Завтра Монкорне придёт составлять свою опись, — прошептал Франческо. — Затем будут похороны. Мы должны быть готовы.

— Мы готовы. Всё на месте. Мастерская выглядит нетронутой, наша история согласована.

Они провели эту последнюю ночь в сосредоточенном молчании, каждый погружённый в свои воспоминания, мысленно готовясь к завтрашнему испытанию.

Франческо не мог не думать о Леонардо. Он только что потерял человека, что был его учителем, его наставником, почти его отцом на протяжении тринадцати лет. Что он будет делать теперь? Куда пойдёт? Эти вопросы его терзали, но он отгонял их. Пока нужно было сосредоточиться на главном: защитить наследие учителя, играть свою роль убитого горем спутника, пока королевские служащие не закончат опись.

Слуги покинули усадьбу — король нашёл им новые места в замке. Франческо и Салаи остались одни в этом пространстве, что было прежде столь живым, столь творческим, а теперь казалось пустым и мрачным.

Они покинули траурную комнату, чтобы посидеть в мастерской, перед Джокондой. Ни один из них не говорил. Что тут скажешь? Слова казались тщетными перед лицом безмерности их утраты.

Салаи нарушил молчание.

— Помнишь ли ты первую встречу с учителем? Где это было?

Франческо улыбнулся, несмотря на печаль. Это воспоминание было запечатлено в его памяти с полной ясностью.

— В Милане, в мастерской, что он занимал близ Санта-Мария-делле-Грацие. Это было в 1506 году, мне было шестнадцать лет. Отец повёл меня взглянуть на великого

Леонардо да Винчи, о котором говорил весь город. Я был напуган до ужаса.

— И что ты почувствовал, увидев его?

— Я увидел человека уже не очень молодого — ему было уже пятьдесят четыре года, — но чьи глаза сияли необычайной силой. Он взглянул на меня, будто пытался прочесть мою душу. Затем спросил: *«Юноша, зачем ты хочешь учиться живописи?»*. Я пробормотал что-то о красоте, об искусстве. Он покачал головой. *«Глухой ответ. Живописи учатся, чтобы научиться видеть. Чтобы понять, как игра теней ваяет формы, как краски рождаются из тьмы, как глаз переводит мир в ощущения. Красота — лишь следствие, а не цель»*. Этот ответ меня потряс. В тот миг я понял, что хочу остаться при нём, учиться у него, смотреть на мир его глазами.

Салаи кивнул. Его собственная история была иной, менее славной, но не менее сильной.

— Я не выбирал. Вернее, это он меня выбрал. Мне было десять лет, я воровал на улицах Милана. Однажды я попытался стянуть у него кошелёк, пока он рисовал на площади. Он схватил меня за шиворот, но вместо того, чтобы сдать стражникам, взглянул на меня с любопытством. *«Маленький бес, — бросил он мне, — у тебя ловкие руки и живые глаза. Я сделаю из тебя нечто лучшее, чем вора»*. И он взял меня с собой. Годами я был невыносим. Всё ломал, продолжал воровать, лгал. Ему следовало бы прогнать меня сотню раз. Но он никогда этого не делал. Он бранил меня, а затем прощал. Всегда.

— Он любил тебя как сына. Даже если никогда этого не говорил.

— Знаю. Именно поэтому я готов на всё, чтобы защитить то, что он оставил. Даже лгать королевским служащим. Даже рисковать темницей, а то и худшим.

Франческо положил руку на плечо Салаи.

— Мы сделаем это вместе. Мы не одиноки.

Они провели в мастерской ещё час, вспоминая, порой плача, порой смеясь, вспоминая некоторые случаи. У Леонардо были свои причуды, свои наваждения, свои внезапные вспышки гнева, за которыми следовали долгие периоды меланхолии. Но он был также щедр, терпелив, бесконечно любопытен ко всему. Именно этого человека они оплакивали — не только признанного гения, но и повседневного спутника, что передал им гораздо больше, чем художественные приёмы.

Когда пала ночь, они зажгли несколько свечей. Тени плясали на стенах мастерской, оживляя приколотые рисунки, создавая иллюзию, будто учитель всё ещё здесь, работает в полумраке.

— Нужно поспать. Завтра будет долгий день. Мы должны начать наводить порядок в мастерской, подготовить документы, что потребует Монкорне. И главное, мы должны быть отдохнувшими, ясными. Мы не можем позволить себе ошибиться из-за усталости.

— Ты прав. Но я боюсь своих снов. Боюсь увидеть, как учитель упрекает меня за то, что мы сделали.

— Он бы ни в чём нас не упрекнул. Напротив, он бы поблагодарил нас, если бы мог. Мы следовали его указаниям, пусть и подразумеваемым. Мы спасли то, что можно было спасти.

Они разошлись, каждый вернулся в свою комнату. Франческо разделся, скользнул под свежие простыни. Мысли его продолжали кружиться, перебирая все подробности их плана, отыскивая изъяны, предугадывая вопросы Монкорне.

А что, если писец Казначейства окажется проникательнее, чем они думали? Что, если он заметит несоответствия в устройстве мастерской, следы их ночной возни? Что, если

кто-то из слуг слышал шум той ночью и упомянет эту подробность дознавателям?

Франческо ворочался в постели, ища удобное положение. Через окно своей комнаты он видел звёзды, сиявшие в майском небе. Леонардо любил их изучать. Он даже смастерил тот маленький самодельный телескоп — теперь спрятанный вместе с остальными вещами, — чтобы наблюдать их вблизи. *«Звёзды — это далёкие солнца», — утверждал он. «И вокруг этих солнц, быть может, вращаются миры, подобные нашему, населённые существами, что задаются теми же вопросами, что и мы».*

Эта мысль утешила Франческо. Учитель теперь стал частью той бескрайней вселенной, что он так любил изучать.

Франческо наконец уснул, убаюканный уверенностью, что совершил нечто важное, несмотря на риски, несмотря на ложь, несмотря на кажущееся предательство короля, что их принял.

На следующее утро он проснулся рано, когда день только занимался. Он спустился в мастерскую и принялся за работу. Он хотел составить собственную опись имеющихся вещей — документ, который сможет предъявить Монкорне и который докажет его добросовестность, его готовность сотрудничать с властями.

Он провёл утро, составляя список.

Он прекрасно знал, что тетрадей было гораздо больше до того, как они изъяли самые ценные страницы. Но сорок две тетради оставались. Монкорне не мог бы заподозрить, что каких-то не хватает.

Франческо продолжал свой список, когда в мастерскую вошёл Салаи с подносом, на котором лежали хлеб, сыр и вино.

— Ты уже работаешь? Нужно поесть, Франческо. Ты не выдержишь, если не будешь заботиться о себе.

— Ты прав. Иди сюда, присядем.

Они разделили этот скромный завтрак, сидя у окна, глядя на сады Кло-Люсе, начинавшие зеленеть с приходом весны.

— Как ты думаешь, когда придёт Монкорне?

— Судя по тому, что объявил король, через три дня после похорон. Что даёт нам ещё один день. День, чтобы подготовиться, чтобы отточить нашу историю.

— Повторим в последний раз. Если Монкорне спросит, почему такая-то рукопись, упомянутая в письме, отсутствует, что мы ответим?

— Что учитель одолжил её проезжему учёному. Или что подарил другу. Или что взял с собой в замок во время визита и так и не вернул. У нас есть несколько правдоподобных версий, нужно лишь следить, чтобы не противоречить друг другу.

— А насчёт недостающих полотен?

— Леду мы объявим уничтоженной учителем в приступе перфекционизма. Иоанна Крестителя... скажем, что учитель одолжил его самому королю, что Франциск хотел показать его при дворе, и что он всё ещё находится в замке. Да, это правдоподобно. Король не станет опровергать — быть может, он даже будет рад узнать, что ему причитается ещё одна картина.

Салаи восхищённо кивнул.

— В тебе есть задатки заговорщика. Если бы ты выбрал политику, а не искусство, из тебя вышел бы грозный советник государя.

— Я не горжусь ложью. Но порой обстоятельства этого требуют. Учитель сам нас этому учил: когда ты слабее своих противников, когда не можешь противостоять силе силой, нужно прибегнуть к хитрости.

Они закончили трапезу в молчании, затем Франческо вернулся к своей описи, а Салаи взялся убирать и приводить в порядок мастерскую. Всё должно было быть безупречно, когда придут королевские служащие. Никакого подозрительного беспорядка, никаких изобличающих следов.

В последний вечер они долго оставались на ногах в мастерской, в последний раз разглядывая пространство в его кажущейся целостности, прежде чем его расчленият чиновники Казначейства.

— Что бы ни случилось завтра, с чем бы нам ни пришлось столкнуться, мы останемся едины. Мы не предадим друг друга. Мы будем защищать наследие учителя до конца.

— Клянусь. Памятью учителя, всем, что для меня свято.

Они пожали друг другу руки, скрепляя свой тайный договор. Затем легли спать, зная, что завтрашний день положит начало их испытанию: обмануть представителей короля, разыграть комедию скорби и сотрудничества, скрывая при этом самую дерзкую кражу в истории искусства.

Франческо уснул, убаюканный странным спокойствием. Они сделали то, что должно было быть сделано. Леонардо бы одобрил. И это, в конечном счёте, было всё, что имело значение.

В темноте опустевшей мастерской Джоконда продолжала улыбаться, загадочная и безмятежная, безмолвная хранительница всех тайн Кло-Люсе.

ГЛАВА 2. КОРОЛЕВСКИЕ АГЕНТЫ

Усадьба Кло-Люсе, 5 мая 1519 года, на рассвете

Ночь близилась к концу. Похороны должны были состояться на следующий день, как только Монкорне исполнит свою работу. В сероватом полумраке, предшествующем рассвету, Франческо Мельци в последний раз оглядывал переустроенную мастерскую.

Появился Салаи, черты его лица были искажены усталостью и тревогой. Он тоже плохо спал.

— Всё на месте? — тихо спросил Франческо.

— Да. Сундуки замурованы. Я заново заделал швы. Даже если станут искать, ничего не найдут.

— А следы? Свежий раствор?

— Я состарил поверхности сажей и уксусом, как учитель научил нас для своих фресок. Можно подумать, эти стены не трогали годами.

— Я подготавливаю дом к приёму служащих. Всё должно выглядеть обычно. Дом в трауре, не более.

— Нам нужно ещё раз обговорить нашу историю. Мы должны быть согласны друг с другом. Малейшее противоречие погубит нас.

— Опять? Франческо, мы повторяли всю ночь!

— Этого недостаточно. Монкорне грозен. Я слышал, что в прошлом году он добился осуждения трёх венецианских купцов за обман права обена. Их в итоге повесили на рыночной площади.

Лицо Салаи побледнело.

— Повесили? За то, что спрятали имущество?

— За попытку изъять у короны то, что причиталось ей по праву. Так это видит Монкорне. Для него мы — потенциальные воры.

В течение следующего часа они повторяли свой рассказ. Франческо задавал коварные вопросы, Салаи отвечал, затем они менялись ролями. Каждая подробность была просеяна сквозь сито: даты, обстоятельства мнимых дарений, имена вымышленных свидетелей, на которых они сошлутся.

— Если Монкорне спросит, почему нет Иоанна Крестителя? — спросил Франческо.

— Учитель одолжил его самому королю, который хотел показать его своему двору. Полотно всё ещё в замке, — без колебаний ответил Салаи.

— Хорошо. Но добавь подробность. Скажи, что это было к дню рождения королевы Клод. Король хотел сделать ей сюрприз. Это делает историю более правдоподобной.

— Хорошо. А Леда?

— Учитель уничтожил её в приступе перфекционизма, за несколько недель до смерти. Он был ею недоволен.

— Нет, погоди. Скажем лучше, что он уничтожил её после того, как её увидел кардинал де Турнон и был возмущён. Ты знаешь, как кардинал стыдлив. Это лучше объяснит, почему Леонардо уничтожил бы столь ценное произведение.

Франческо кивнул.

— Отлично. Ты прав. А недостающие анатомические этюды?

— Подарены доктору Фернелю в благодарность за его заботу, а также нескольким орлеанским врачам, что пытались лечить учителя.

— Добавь имя доктора Леона Павийского. Он приходил дважды. Будет ещё одним свидетелем.

Так они продолжали, оттачивая каждую ложь, добавляя подробности, что сделают их историю более убедительной.

— А если Монкорне будет настаивать? Если почувет, что что-то не так? — спросил Салаи.

— Тогда мы сохраняем спокойствие. Проявляем искреннее негодование. Лучшая защита от обвинений — нападение. Помни, что говорил учитель: *«Кто не карает зло, тот дозволяет его творить»*. Мы обратим этот же довод против них. Обвиним их в осквернении памяти великого человека.

— Ты прав. Мы невиновны. Нам нечего скрывать.

— Именно. И помни: никогда не противоречить друг другу, никогда не колебаться, всегда смотреть собеседнику в глаза.

Голос прервал их:

— Мессеры, они едут!

Это была Матюрина, домоправительница усадьбы, женщина лет пятидесяти со строгим, но добрым лицом.

— Я видела их процессию с башни. Четверо верховых и две повозки. Они будут здесь через несколько минут.

— Спасибо, Матюрина. Ты знаешь, что говорить, если тебя спросят?

— Что я никогда не имела доступа в мастерскую учителя, что туда входили только вы двое. Что со дня его смерти вы непрестанно молились и ничего не трогали.

— Отлично. А если спросят, приходил ли кто-нибудь?

— Только врачи и священники. Больше никто.

Франческо бросился к окну. В серых лучах рассвета он различил небольшую процессию, поднимающуюся к

усадеб: четверо верховых, за ними две повозки, запряжённые волами.

— Они едут, — прошептал он. — Настал час.

Салаи присоединился к нему у окна. Вместе они наблюдали за приближавшимися королевскими служащими. Страх стягивал им внутренности, но также и странное возбуждение. Им предстояло сыграть важнейшую партию в своей жизни.

— Готов? — спросил Франческо.

— Нет. Но у меня нет выбора.

— Ни у кого из нас нет выбора. Помни: мы делаем это ради учителя, ради его наследия, ради самого человечества. Идём.

Франческо спустился по каменной лестнице шагом, которому старался придать достоинство. Салаи следовал за ним, принимая облик скорее верного слуги, нежели сообщника.

В прихожей Франческо на несколько мгновений задержался, придавая своему лицу подобающее выражение. Не слишком удручённое, что показалось бы подозрительным, но и не слишком безмятежное, что выглядело бы непочтительно к покойному. Он выбрал скорбное достоинство.

Матюрина расставила свечи у входа и повесила чёрный креп на дверь. Эти подробности создавали атмосферу дома в трауре, усиливая правдоподобие их постановки.

Удары в дверь прозвучали с властью, не терпящей промедления. Франческо выждал несколько секунд — не слишком долго, чтобы не показаться безучастным, не слишком быстро, чтобы не выглядеть встревоженным, — затем открыл.

На пороге стоял мэтр Этьен Делуан, внушительный в своей чёрной мантии королевского нотариуса. Это был

человек лет шестидесяти, с лицом, изборождённым четырьмя десятилетиями юридической практики. Его серые глаза за очками в железной оправе носили то нейтральное выражение, что свойственно людям, привыкшим каталогизировать людские трагедии, не вовлекаясь в них. Он нёс потёртую кожаную сумку, раздутую от документов.

За ним Франческо узнал Гийома де Монкорне. Писец Казначейской палаты явился лично, что не сулило ничего доброго. Это был человек в расцвете лет, лет сорока пяти, тоже одетый в чёрное, но чёрное более суровое, почти монашеское. Его угловатое лицо носило настороженное выражение тех, кто сделал карьеру на разоблачении обманов.

Рядом с ними стоял Бартеlemi Руссо, секретарь бальяжа, отвечавший за официальное оформление описи. Моложе своих коллег, вероятно лет тридцати, он уже носил сутулую спину писцов, что проводят жизнь, склонившись над пергаменами. Его пальцы, испачканные чернилами, сжимали сумку с письменными принадлежностями.

Двое вооружённых сержантов дополняли группу — крепкие мужчины с широкими руками, привыкшие переносить конфискованное имущество. Один из них, рыжий великан с густой бородой, носил у пояса булаву. Другой, более худощавый, имел холодный взгляд бывалого воина. Они держались позади, ожидая приказов.

— Мессир Мельци, — торжественно произнёс нотариус, снимая шляпу, — мы явились, согласно королевским указам и незапамятным обычаям сего королевства, дабы составить опись имущества, оставленного покойным мэтром Леонардо да Винчи, живописцем короля, скончавшимся в сей усадьбе второго дня мая года благодати тысяча пятьсот девятнадцатого. Да упокоит

Господь Всемогущий его душу и да дарует ему вечный покой, обещанный праведникам.

Ритуальная формула прозвучала с безупречной дикцией людей закона, привыкших к официальным церемониям. Франческо склонил голову, не спеша с ответом, придавая своему голосу ровно столько сдержанной скорби, сколько требовалось.

— Добро пожаловать в этот дом, где наш дорогой учитель обитал столь мирно. Прошу, входите. Пусть ваша служба исполнится по воле Божией и законам королевства Франции. Всё осталось нетронутым с тех пор, как наш возлюбленный учитель испустил последний вздох.

Служащие вошли в прихожую. Хотя Делуан успел провести десятки подобных описей, эта имела особое значение. Леонардо да Винчи был не обычным чужеземцем — он был самым знаменитым живописцем Европы.

Но Монкорне не выказывал никаких чувств. Его глаза уже обшаривали прихожую, отмечая каждую подробность, каждую ценную вещь. Взгляд его задержался на картине, висевшей на стене, — копии Тайной вечери, что Леонардо велел исполнить одному из своих миланских учеников.

— Входит ли это творение в опись? — сухо спросил он.

— Это копия, мессир, выполненная Джованни Пьетро Риццоли. Она принадлежит усадьбе, а не учителю.

Монкорне приблизился, изучил подпись в углу.

— Мы проверим. Нас интересует всё, к чему прикасалась рука вашего учителя.

— Мессир Мельци, — вмешался писец, ещё не успев переступить порог мастерской, — необходим предварительный вопрос. С момента кончины вашего

учителя входил ли кто-нибудь в его мастерскую? Было ли что-то передвинуто, пусть даже из лучших побуждений?

Вопрос был прямым, даже коварным. Франческо его предвидел, но, услышав так грубо произнесённым, был поражён. Он придал лицу выражение, где негодование спорило со скорбью.

— Господин де Монкорне, как вы смеете предполагать, будто мы осквернили память нашего учителя, прикасаясь к его имуществу?

Он позволил голосу подняться, приняв возмущённый тон:

— С момента его смерти мы с Салаи довольствовались тем, что молились за упокой его души и бдели у его тела по обычаям святой католической церкви. Отец Антуан может это подтвердить — он не покидал траурного покоя. Мы ни к чему не прикасались, даже не позволили себе войти в мастерскую, разве что для того, чтобы помолиться перед местом, где он творил свои чудеса.

Франческо позволил повиснуть оскорблённой тишине, прежде чем добавить:

— Наш учитель научил нас всему. Он относился к нам больше десяти лет как к собственным сыновьям. Как могли бы мы обесчестить его память, поведя себя в самый час его смерти, точно грубые расхитители могил? Один этот намёк — тяжкое оскорбление нашей преданности, нашей сыновней любви, нашего почтения к гению, что нас взрастил.

Салаи, уловив нужную интонацию, добавил голосом, надломленным волнением, со слезами, набегавшими на глаза, — слезами вполне настоящими, ибо усталость и нервное напряжение заставляли их наворачиваться:

— Вы не можете понять, чем был для нас учитель. Он был не просто нашим наставником, но нашим путеводителем, смыслом нашей жизни. Каждая вещь в этой мастерской

напоминает о его присутствии, и это отсутствие — как кинжал, вонзённый в наши сердца. Как могли бы мы осквернить эти священные реликвии его гения?

Голос его сорвался на последних словах. Чувство было столь искренним, что даже Монкорне на мгновение показался сбитым с толку.

Писец прищурился, не слишком убеждённый этими заверениями в невиновности, что слышал в тысяче разных обличий за свою карьеру. Он достал маленькую тетрадь и начал делать заметки.

— Мессир Мельци, позвольте мне настоять. Вы понимаете, я надеюсь, что мой вопрос — не обвинение, а необходимая формальность. Я видел слишком много случаев, когда доброжелательные наследники хотели *«сохранить»* некоторые памятные вещи до официальной описи. Это значительно осложняет нашу работу.

— Я понимаю ваш долг, мессир, — ответил Франческо, слегка смягчаясь. — Но клянусь вам честью и спасением своей души, что ничего не было тронуту. Впрочем, расспросите слуг. Матюрина, наша домоправительница, может засвидетельствовать, что мы лишь входили и выходили для молитвы.

Монкорне обернулся к Матюрине, скромно стоявшей в углу.

— Женщина, подойди.

Матюрина приблизилась, опустив глаза, как подобает служанке перед королевским чиновником.

— Ты?

— Матюрина Галлерани, домоправительница этого дома вот уже шесть лет, ваша милость.

— Видела ли ты, чтобы эти двое входили в мастерскую после смерти учителя?

— Да, ваша милость. Только для молитвы. Они преклоняли колена перед мольбертом, где покоится портрет улыбающейся Дамы, читали Отче наш и Радуйся, Мария, затем выходили, плача. Никогда я не видела, чтобы они к чему-либо прикасались.

— Ты в этом уверена?

— Клянусь Пресвятой Девой Марией и всеми святыми, ваша милость. Я сама следила, чтобы никто не осквернил это священное место. Учитель был святым человеком, пусть и чужеземцем. Он заслуживал уважения.

Нотариус вмешался с властностью, что придавало ему высшее положение в иерархии:

— Полноте, господин де Монкорне, умерим наше рвение. Не будем усложнять и без того деликатную задачу. Эти юноши явно убиты потерей своего учителя. Было бы неуместно и даже жестоко обременять их беспочвенными подозрениями. Приступим к описи, которую нам предписывает Его Величество. Факты сами скажут за себя, если обнаружится какая-либо неисправность.

Монкорне убрал свою тетрадь с недовольной гримасой.

— Пусть так. Но знайте, мессире: если мы обнаружим малейшую попытку сокрытия, последствия будут ужасны. Кража имущества, причитающегося короне по праву обена, карается смертью. Виселица ждёт обманщиков.

— Нам нечего бояться правды, — ответил Франческо, выдержав взгляд писца.

Нотариус обернулся к Мельци с более благосклонным выражением:

— Проводите нас, прошу, в мастерскую вашего покойного учителя. День наступает, а наша задача будет долгой. Я слышал, что мэтр Леонардо владел сотнями произведений и рукописей.

— Именно так, мессир. Мой учитель не переставал творить, изобретать, совершенствовать. Следуйте за мной. Франческо направился к монументальной лестнице, ведущей на второй этаж. Каменные ступени, стёртые тремя годами хождений, отзывались эхом под их шагами. Служащие следовали за ним торжественной процессией.

Позади себя Франческо слышал скрип пера секретаря, уже делавшего предварительные заметки, вероятно, описание прихожей и пройденных комнат. Он слышал также астматическое дыхание Делуана — грузного человека, для которого подъём по лестнице составлял немалое усилие. И прежде всего он ощущал присутствие Монкорне, чей острый взгляд не переставал обшаривать каждый угол, каждую картину, каждую вещь.

На середине лестницы писец остановился перед нишей, где была выставлена небольшая бронзовая скульптура вставшего на дыбы коня.

— Это тоже входит в опись?

— Нет, мессир. Эта скульптура принадлежит усадьбе. Она уже была здесь, когда король подарил это жилище моему учителю.

Монкорне осмотрел вещь со всех сторон, ища подпись, отличительный знак.

— Мы это проверим. Отметьте, Руссо.

Секретарь торопливо нацарапал что-то на своих табличках.

Франческо чувствовал, как растёт напряжение. Если Монкорне будет так же пристально изучать каждую вещь, опись затянется на дни. Нужно было отвлечь его внимание, впечатлить его, чтобы он сосредоточился на главных вещах.

— Мессеры, позвольте мне сказать несколько слов, прежде чем мы войдём в святилище, где мой учитель создавал свои бессмертные творения.

Он остановился на площадке, вынуждая процессию замереть.

— Леонардо да Винчи не был человеком обыкновенным. Его гений превосходил всё, что способен постичь человеческий разум. В этой мастерской, куда мы сейчас войдём, он не только писал картины сверхъестественной красоты, но и вёл научные изыскания, что однажды перевернут наше понимание мира.

Франческо дал своим словам прозвучать эхом в лестничном пролёте, затем продолжил:

— Он изобрёл летательные машины, способные поднять человека в воздух. Он проник в тайны истечения вод и образования гор. Он изобрёл грозные боевые машины, подвижные мосты, штурмовые колесницы, усовершенствованные бомбарды.

Делуан слушал с интересом. Даже Монкорне, помимо воли, казался заинтересованным.

— Но главное, — продолжал Франческо, — он совершил переворот в искусстве живописи. Он изобрёл приёмы, каких никто до него не смел вообразить. Сфумато, что придаёт его портретам эту дивную жизнь. Воздушную перспективу, что создаёт эту бескрайнюю глубину в его пейзажах. Совершенную анатомию его персонажей, плод многолетнего изучения трупов.

Он обернулся к Монкорне:

— Всё это я говорю вам к тому, что то, что вы сейчас увидите, — не просто собрание одарённого живописца. Это сокровище человека, посвятившего всю свою жизнь постижению тайн природы и искусства. Умоляю вас обращаться с этими творениями с должным почтением.

Это последние свидетельства величайшего гения, что знало человечество со времён Античности.

Эта речь, подготовленная за ночь, преследовала двойную цель. С одной стороны — напомнить служащим о культурной важности того, что они собирались конфисковать. С другой — утвердить самого Франческо как законного хранителя этого наследия, того, кто понимал ценность этих произведений.

Нотариус серьёзно кивнул.

— Будьте уверены, мы сознаём историческую и художественную важность того, что нам предстоит описать. Сам Его Величество повелел принять величайшие предосторожности. Более того, король лично поручил мне следить, чтобы ничто не было повреждено.

Монкорне, однако, не удержался и сухо добавил:

— Уважая их художественную ценность, мы тем не менее должны исполнить наш законный долг со всей строгостью и точностью. Законы королевства применимы к произведениям искусства так же, как к любому иному имуществу. Право обена не терпит исключений, даже для гения.

— Право обена, — с горечью повторил Франческо. — Право, что позволяет обирать чужеземцев после их смерти. Мой учитель три года служил Франции, обогатил это королевство своим гением, и вот его награда.

— Это закон, — возразил Монкорне. — Справедливый закон, охраняющий интересы королевства. Ваш учитель мог бы попросить грамоты о натурализации. Он этого не сделал. Это был его выбор.

— Или его незнание ваших сложных законов. Мой учитель был художником, а не законником.

— Незнание закона не есть оправдание, как всем известно.

Салаи вступил в разговор:

— Мой учитель полагал, что у гения нет национальности, что искусство принадлежит всему человечеству! Он считал себя гражданином мира!

— Прекрасная философия, — иронично заметил Монкорне, — но мы живём в реальном мире, а не в мечтах художника. В реальном мире есть законы, границы, национальности.

Нотариус поднял руку, дабы умерить страсти:

— Господа, этот спор бесплоден. Мы здесь не для того, чтобы обсуждать философию или справедливость, а чтобы исполнить наш долг. Мессир Мельци, проводите нас в мастерскую, прошу вас.

Франческо кивнул и продолжил подъём. Через несколько ступеней они достигли двери мастерской. Сердце Франческо билось всё быстрее. Настал этот миг. Момент истины.

Он положил руку на кованую щеколду, наслаждаясь этими последними мгновениями перед хаосом.

— Вот порог храма искусства. Здесь наш учитель провёл последние годы своей жизни, творя без усталы, неустанно пытаясь проникнуть в тайны природы. Входить в эту мастерскую в его отсутствие... значит осквернять святилище.

Голос его слегка сорвался на последних словах. Чувство не было притворным — он глубоко переживал это осквернение.

— Мы понимаем вашу скорбь, — сказал Делуан с искренним сочувствием. — Но долг зовёт нас.

Франческо глубоко вздохнул, затем медленно толкнул дверь, скрипнувшую петлями, которые он намеренно оставил несмазанными ради драматического эффекта. Утренний свет, ещё слабый, но нарастающий, залил

просторное помещение, явив зрелище, что Франческо и Салаи подготовили.

Нотариус замер на пороге. Его рот приоткрылся, глаза расширились, и на долгий миг он остался недвижим, поражённый красотой открывшегося ему зрелища.

— Пресвятая Матерь Божья, — прошептал он.

Ибо это был поистине храм, что Франческо и Салаи создали за эту страшную ночь. Косые лучи восходящего солнца проникали через большие окна и ласкали творения почти волшебной мягкостью. Расположение картин, угол света — всё было рассчитано для наибольшего зрительного впечатления.

В центре этой светозарной постановки восседала Джоконда, установленная на мольберте у главного окна, точно там, где Леонардо любил созерцать её в последние месяцы жизни. Шёлковая вуаль цвета амаранта с золотой вышивкой, что обычно её укрывала, была снята — деталь, призванная усилить эмоциональное впечатление от этого первого взгляда.

И впечатление было полным. Портрет Моны Лизы, освещённый косым светом рассвета, казался живым. Её загадочная улыбка, казалось, вот-вот расширится. Её глаза, казалось, следили за движениями посетителей. Её руки, покоящиеся одна на другой с той бесконечной грацией, что умел передать лишь один Леонардо, казались готовыми вот-вот шевельнуться.

Делуан долго стоял неподвижно перед картиной, сумка его чуть не соскользнула с плеча — так он был поглощён созерцанием. Губы его дрожали.

— Так вот она, та таинственная Дама, о которой весь двор говорит уже годами! Эта тревожащая красота, что вдохновила столько стихов и песен! Никогда я не видел подобного мастерства в искусстве живописи!

Даже Монкорне, при всём своём цинизме, не смог полностью скрыть своего восхищения. Он медленно приблизился, словно притянутый магнитной силой.

— Необыкновенно, — неохотно признал он. — Понятно, почему Его Величество так дорожил этим творением.

Секретарь Руссо, разинув рот, уронил перо. Он поспешно нагнулся его поднять, краснея от своей неловкости.

— Простите меня, я... я никогда не видел ничего подобного.

Делуан приблизился ещё, не смея коснуться картины, но склоняясь, чтобы разглядеть подробности. Его дыхание образовало дымку на лакированной поверхности, и он поспешно отступил.

— Простите. Мне не следовало подходить так близко. Но это сильнее меня. Как это возможно? Как может человек уловить самую жизнь простыми красками и маслом?

Франческо, несмотря на своё нервное напряжение, не мог не улыбнуться при виде искреннего волнения старого нотариуса. Он приблизился, принимая тон страстного провожатого:

— Мой учитель говорил, что истинное искусство состоит не в рабском копировании природы, а в её воссоздании с большей правдой и глубиной, нежели сама природа. Взгляните на этот взгляд, мессеры. Смотрите, как глаза не просто написаны, а живут. Учитель применил новаторский приём: несколько прозрачных наложенных друг на друга слоёв лессировки, каждый добавляет оттенок, глубину, пока не создаётся эта иллюзия жизни.

Он бережно указал на лицо:

— Взгляните на эти переходы между тенью и светом. Нет ни одной жёсткой линии, ни одного чёткого контура. Всё растворяется в тонкой дымке. Этот приём потребовал месяцев труда. Учитель порой наносил слой столь тонкий,

что он был почти невидим, ждал, пока он высохнет, затем наносил следующий. В некоторых местах насчитывается более тридцати наложенных слоёв.

Салаи, увлечённый чувством, тоже приблизился:

— А эта улыбка! Всмотритесь в неё внимательно. Она счастлива? Печальна? Насмешлива? Невозможно сказать. Учитель уловил самую неоднозначность человеческой души. Он говорил: *«Улыбка может вместить всю радость и всю печаль мира»*.

— А эти руки, — добавил Франческо, указывая на них. — Взгляните на эту кажущуюся простоту, что есть плод сотен подготовительных этюдов. Мой учитель нарисовал более шестидесяти различных рук, прежде чем нашёл эту. Шестидесят рук! Ради подробности, которую большинство живописцев уладили бы за час!

Монкорне, обретя вновь профессиональную выдержку, достал свою тетрадь:

— Кто эта Дама? Оставил ли учитель какие-либо указания о её личности?

Франческо и Салаи обменялись взглядом. Это был один из вопросов, что они репетировали.

— Учитель называл её просто *«Мадонна Лиза»*, — ответил Франческо. — Он держал её личность в тайне. Одни говорят, что она была супругой флорентийского купца, Франческо дель Джокондо. Другие полагают, что это идеализированный портрет, синтез всех женских красот, что учитель наблюдал.

— Мой учитель говорил, что её личность не имела значения, — добавил Салаи. — Важно было то, что она собой представляла: вечную женственность, тайну красоты, загадку человеческого бытия.

Нотариус кивнул. Он обернулся к другим произведениям, расставленным в мастерской.

— И все эти чудеса... Сколько лет труда они представляют?

— Целую жизнь, мессир, — ответил Франческо. — Мой учитель начал писать в четырнадцать лет в мастерской Верроккьо во Флоренции. Ему было шестьдесят семь в час смерти. Больше полувека, посвящённого искусству и науке.

Монкорне отошёл от Джоконды, дабы осмотреть остальную мастерскую. Его наметанный глаз отмечал каждую подробность: расположение творений, устройство пространства, инструменты, оставленные на столах. Он остановился перед рядом рисунков, приколотых на стене, — тех, что Франческо намеренно оставил на виду, наименее революционных.

— Эти рисунки... Похоже на этюды вскрытия.

— Именно так, — подтвердил Франческо. — Мой учитель получил разрешение вскрывать трупы в госпитале Санта-Мария-Нуова во Флоренции, а затем здесь, с согласия короля. Он хотел понять устройство человеческого тела, дабы вернее его изображать в своих творениях.

— И увлекательно, и отвратительно одновременно, — заметил писец. — Разве ваш учитель не боялся Инквизиции? Вскрывать человеческие тела...

— Папа Сикст Четвёртый разрешил вскрытия в научных целях ещё в 1482 году, — напомнил Франческо. — Мой учитель не делал ничего противозаконного. Он лишь стремился раскрыть творение Божие.

Салаи добавил с жаром:

— Он говорил, что человеческое тело — прекраснейшая машина, созданная Всевышним. Каждая мышца, каждая кость, каждый орган имели своё назначение, свою собственную красоту. Он проводил целые ночи, зарисовывая то, что наблюдал днём.

Секретарь Руссо, раскладывавший свои принадлежности на столе, робко произнёс:

— Я слышал, что мэтр Леонардо создавал также боевые машины для миланского герцога. Правда ли это?

— Это верно, — ответил Франческо. — Мой учитель служил Лодовико Сфорца семнадцать лет. Он проектировал укрепления, бомбарды, штурмовые колесницы. Но он ненавидел войну. Он создавал эти машины лишь по необходимости, чтобы заработать на жизнь. Его сердце было в искусстве и чистой науке.

— Боевые машины, — с интересом повторил Монкорне. — Есть ли в этой мастерской чертежи этих изобретений?

Франческо почуял опасность. Нужно было отвлечь внимание писца.

— Несколько незначительных набросков, мессир. Большинство его военных чертежей осталось в Милане. Здесь у нас в основном его мирные изыскания: этюды о полёте птиц, часовые механизмы, гидравлические системы для орошения.

Он указал на стопку тетрадей на полке — тех, что они оставили на виду:

— В этих тетрадях — его наблюдения над природой. Мой учитель был убеждён, что человек однажды сможет летать. Он спроектировал десятки летательных машин, все основанные на тщательном изучении крыльев птиц и летучих мышей.

— Летать, как птица... Какое великолепное безумие! Ваш учитель говорил это всерьёз?

— Совершенно всерьёз, мессир. Он даже построил несколько образцов. Один из них в сарае, если пожелаете взглянуть позже. Большая машина с крыльями из холста и дерева, приводимая в движение педалями. Ему так и не

удалось заставить её взлететь, но он был убеждён, что однажды человек покорит небеса.

— Кошунство! — внезапно воскликнул один из сержантов, рыжий великан. — Только ангелам дано право летать! Желать подражать ангелам — значит бросать вызов Богу!

Франческо спокойно обернулся к нему:

— Мой учитель не хотел бросать вызов Богу, а хотел понять Его творение. Он говорил: *«Кто постигает законы природы, тот постигает мысль Божию»*. Он видел в науке своего рода молитву, способ почитать Создателя, изучая Его творение.

Сержант проворчал что-то, но не стал настаивать. Монкорне же продолжал осмотр. Он открыл сундук, изучил его содержимое — кисти, пигменты, склянки с маслом.

— Все эти материалы входят в опись, — объявил он. — Даже кисти и краски. Всё, что принадлежало обену, отходит короне.

— Даже его одежда? — с горечью спросил Салаи. — Даже его обувь?

— Всё, — подтвердил писец. — Закон ясен.

Он обернулся к нотариусу:

— Мэтр Делуан, предлагаю начать систематическую опись. Нам потребуется несколько часов, чтобы всё каталогизировать.

Нотариус кивнул и достал из своей объёмистой сумки градуированную деревянную линейку и верёвку с узлами для точного измерения размеров. Он снова приблизился к Джоконде.

— Начнём с этого чуда. Руссо, вы готовы?

Секретарь разложил на столе свои гусиные перья, очиненные в то же утро, чернила разных цветов — чёрные для основного текста, красные для заголовков, синие для заметок на полях — и пергаменты хорошего качества.

— К вашим услугам. Мои принадлежности готовы. Можем начинать.

— Один миг. Прежде чем вы начнёте, могу ли я попросить вас об одолжении?

Монкорне нахмурился:

— Каком одолжении?

— Позвольте мне произнести последнюю молитву перед каждым творением, прежде чем его внесут в опись и увезут. Это... это мой способ проститься.

Нотариус был тронут этой просьбой:

— Разумеется, сын мой. Не спешите.

Франческо преклонил колена перед Джокондой и сложил руки. Но вместо молитвы он запечатлевал в памяти каждую подробность картины, зная, что, вероятно, больше её не увидит. Слёзы текли по его щекам — на сей раз слёзы искренние.

После долгой паузы он поднялся:

— Благодарю. Можете приступать.

Нотариус прочистил горло и начал диктовать зычным, официальным голосом...

— Опись имущества, оставленного покойным мэтром Леонардо да Винчи, гражданином Флоренции, живописцем, инженером и архитектором Его Величества короля Франции, скончавшимся в сей усадьбе Кло-Люсе второго дня мая года благодати тысяча пятьсот девятнадцатого. Опись составлена пятого дня того же месяца мая, в присутствии мэтра Этьена Делуана, королевского нотариуса, при содействии мессира Гийома

де Монкорне, главного писца Казначейской палаты, и мэтра Бартеlemi Руссо, секретаря бальяжа Амбуаза.

Секретарь прилежно записывал, его перо скребло по пергаменту в тягостной тишине. Он выводил чёткие буквы канцелярского почерка, выработанного двадцатью годами практики.

— Также присутствуют, — продолжал нотариус, — мессир Франческо Мельци, ученик покойного, а также мессир Джан Джакомо Капротти, прозванный Салаи, слуга и ученик означенного покойного. Королевские сержанты Пьер Мортен и Жак Дюбуа присутствуют при этой операции.

Монкорне терял терпение:

— Необходимы ли эти формальности? Мы все и так знаем, кто мы такие.

— Закон требует, чтобы всё было запротоколировано, — возразил Делуан. — Неполная опись может быть оспорена. Продолжим. Статья первая. Картина большой ценности, изображающая Даму, сидящую в кресле...

Он достал линейку и принялся тщательно измерять:

— ...среднего размера — высотой ровно два фута, шесть дюймов и три линии, шириной один фут, девять дюймов и две линии, — писанная на доске из чёрного итальянского тополя толщиной в три доброго пальца, то есть примерно в полтора дюйма, вставленная в позолоченную сусальным золотом раму шириной в пядь, каковая рама украшена резными орнаментами, изображающими растительные мотивы переплетённых листьев аканфа и лилий.

Секретарь с трудом успевал за темпом диктовки:

— Мэтр, не могли бы вы повторить размеры?

— Два фута, шесть дюймов и три линии высоты. Один фут, девять дюймов и две линии ширины. Отметьте также,

что доска имеет лёгкий изгиб, вероятно, вызванный возрастом дерева.

Он внимательно всмотрелся в картину, приблизив лицо, чтобы разглядеть подробности:

— Изображённая Дама одета в чёрное шёлковое платье из дамаста великой роскоши, с рукавами тёмно-зелёного бархата. Прозрачная воздушная вуаль из шёлкового газа обрамляет её лицо и спускается на плечи. Её волосы, каштановые с золотистым отливом, уложены по флорентийской моде, с пробором посередине. Никаких украшений на ней не заметно.

Монкорне тоже приблизился:

— Отметьте также состояние сохранности. Есть ли повреждения?

Делуан внимательно осмотрел поверхность:

— Творение в замечательном состоянии. Несколько поверхностных трещинок в тёмных зонах, особенно заметных на платье. Лёгкое пожелтение лака. Но в целом сохранность исключительная.

— Это благодаря неустанной заботе учителя. Он ежедневно проверял состояние своих творений. Он разработал особый лак на основе мастиковой смолы и орехового масла, что защищает живопись, позволяя ей при этом дышать.

— Руссо, отметьте эти сведения о лаке. Они могут пригодиться для будущей сохранности.

Секретарь кивнул, добавив заметку на полях синими чернилами.

Внезапно Монкорне сделал замечание, встревожившее Франческо:

— Погодите. Эта картина всегда стояла на этом месте? Я замечаю, что пыль вокруг мольберта образует необычный узор. Похоже, его недавно передвигали.

Франческо почувствовал, как заколотилось сердце, но сохранил спокойствие:

— Действительно, я передвинул мольберт два дня назад, мессир. После смерти учителя я повернул его на восток, дабы утренний свет освещал лицо Мадонны Лизы во время наших молитв. Это было... это был мой способ почтить её. Свет зари на её лице... казалось, будто она оплакивает нашего учителя вместе с нами.

Объяснение, кажется, удовлетворило писца, который тем не менее занёс сведения в свою тетрадь.

Опись продолжилась. Нотариус перешёл к следующей картине:

— Статья вторая. Картина больших размеров, изображающая святую Анну, мать Девы Марии, саму Деву Марию и Младенца Иисуса, играющего с ягнёнком, всё это расположено на скалистом пейзаже с голубоватыми горами вдали...

Он добросовестно измерил:

— ...писанная на доске из тополя значительных размеров — высотой ровно четыре фута и два дюйма, шириной три фута и один дюйм, — но оставшаяся незавершённой рукой учителя. Некоторые части, в частности лицо святой Анны и лицо Девы, безупречно закончены, тогда как другие зоны, особенно ягнёнок и пейзаж справа, лишь набросаны.

Франческо не смог удержаться от вмешательства:

— Эта картина занимала моего учителя почти двенадцать лет. Он никогда не мог полностью ею удовлетвориться. Он говорил, что изобразить три поколения святости в

одной композиции было высшим испытанием его карьеры.

— Почему он так и не завершил её? — спросил Руссо.

— Потому что его видение постоянно менялось. Всякий раз, когда ему казалось, что он нашёл совершенное решение, возникала новая мысль. Он переписывал лицо святой Анны по меньшей мере шесть раз. Приглядитесь внимательно — под нынешним слоем краски ещё видны следы прежних композиций.

Делуан наклонился, и действительно, под слоями краски различались смутные контуры:

— Поразительно! Как будто несколько картин наложены друг на друга! Руссо, отметьте: *«Творение, обнаруживающее многочисленные переделки, видимые сквозь краску»*.

Опись продолжалась часами. Картина за картиной, рисунок за рисунком, каждое творение измеряли, описывали, оценивали. Солнце поднималось в небе, его лучи медленно передвигались по полу мастерской.

Около десятого часа утра, когда они описывали ряд портретов молодых женщин, Монкорне вдруг остановился перед стеной, где отчётливо виднелись прямоугольные более светлые пятна.

— Что это такое? — спросил он, указывая на эти отметины. — Похоже, отсюда недавно сняли картины.

Франческо заранее подготовил ответ:

— Это места, где висели творения, что мой учитель подарил во время своей болезни, мессир. Он хотел отблагодарить тех, кто ухаживал за ним или утешал его.

— И какие именно творения?

— Главным образом этюды. Портрет юноши, подаренный отцу Антуану, что приносил ему таинства. Этюд рук, подаренный доктору Фернелю. Голова старика —

канонику Брисонне, что приходил беседовать с ним о богословии.

Монкорне приблизился к стене:

— Эти следы кажутся весьма недавними. Разница в окраске минимальна. Эти картины, должно быть, сняли всего несколько дней назад.

— Около двух недель, мессир. Это было во время последнего визита доктора Фернеля. Мой учитель, в минуту ясности, настоял на том, чтобы подарить ему этот этюд рук в знак благодарности за заботу.

— И у вас есть свидетели этих дарений?

— Сами получатели, разумеется. Можете их расспросить.

Писец записал имена в свою тетрадь:

— Мы это сделаем, будьте уверены. Продолжим.

Они перешли к рукописям. Стопки тетрадей и записных книжек громоздились на нескольких столах. Делуан поднял одну, осторожно раскрыл её:

— Боже правый! — воскликнул он. — Это письмо... оно наоборот!

— Мой учитель писал зеркально, — объяснил Франческо.

— Справа налево. Нужно зеркало, чтобы прочесть его заметки, или же научиться разбирать это обратное письмо. Отчасти это было ради защиты его тайн, отчасти — привычка левши.

— Он был левшой? — удивился Руссо.

— Самым знаменитым левшой на свете, — подтвердил Салаи. — Он рисовал, писал красками, писал буквы левой рукой. Он говорил, что это дар Божий, что это позволяет ему видеть мир иначе.

Монкорне листал тетрадь, пытаясь разобрать обратное письмо:

— И что же содержат эти рукописи в точности?

Франческо тщательно подбирал слова:

— Наблюдения над природой, философские размышления, математические изыскания, исследования перспективы. Мой учитель записывал всё, что его интересовало. Взгляните, например, вот здесь...

Он взял безобидную тетрадь и раскрыл её на странице, покрытой рисунками цветов:

— Ботанические этюды. Учитель проводил часы в садах, зарисовывая каждый лепесток, каждый лист. Он говорил, что понять строение цветка — значит понять архитектуру красоты.

— А эти чертежи? — спросил писец, показывая страницу, покрытую сложными геометрическими фигурами.

— Этюды пропорций. Мой учитель искал математические соотношения, управляющие зрительной гармонией. Золотое сечение, идеальные пропорции человеческого тела по Витрувию...

Делуан начал диктовать:

— Статья десятая. Собрание переплетённых и непереплетённых рукописей, писанных рукой покойного зеркальным письмом...

Он принялся пересчитывать тома:

— Насчитываю... двенадцать больших тетрадей формата ин-кварто, переплетённых в красную кордовскую кожу... Двадцать три тетради формата ин-октаво в пергамене... И приблизительно двести разрозненных листов различных размеров.

— И это всё? — вдруг заявил Монкорне. — Для человека, работавшего пятьдесят лет, это кажется немногим.

Писец разгадал их постановку.

— Мой учитель был весьма разборчив, — ответил Франческо, стараясь сохранять спокойствие. — Он

регулярно уничтожал этюды, что считал несовершенными. К тому же многие его заметки остались в Италии, при дворе, которым он служил.

— И он ничего не подарил из этих рукописей во время болезни? — настаивал Монкорне.

— Да, несколько тетрадей. Трактат о перспективе, подаренный Жану Перреалу, королевскому живописцу, что им восхищался. Гидравлические этюды, подаренные королевскому инженеру Пьеру де Наварру. Исследования об укреплениях, отправленные маршалу де ла Палису.

Писец записывал все эти имена со скептическим выражением лица:

— Какая внезапная щедрость! Ваш учитель раздал половину своих творений за несколько недель!

Салаи вспыхнул:

— Он хотел, чтобы его знания послужили чему-то! Так ли трудно это понять?

— Что трудно понять, — возразил Монкорне, — так это почему он не составил надлежащего завещания, дабы законно завещать это имущество. Почему эти неофициальные дарения?

— Он был слишком слаб, чтобы писать, — объяснил Франческо. — Паралич поразил его правую руку. Он мог лишь отдавать устные распоряжения.

— Удобно, весьма удобно, — пробормотал писец.

Напряжение в мастерской стало ощутимым. Делуан, почувствовав, что атмосфера сгущается, вмешался:

— Господа, продолжим наш труд. Время идёт, а нам ещё многое предстоит описать.

Они перешли к научным приборам. Франческо тщательно отобрал те, что следовало оставить на виду: циркули,

наугольники, армиллярную сферу, несколько стеклянных линз, зеркала.

— Статья двадцатая. Собрание математических и оптических приборов...

Монкорне рассмотрел выпуклую линзу:

— Для чего это служило?

— Мой учитель изучал свойства света. Он использовал эти линзы, чтобы понять, как человеческий глаз воспринимает изображения. Это было существенно для его техники перспективы.

— А этот странный прибор? — спросил писец, показывая сложное сплетение зубчатых колёс и пружин.

Франческо улыбнулся, несмотря на своё напряжение:

— Одно из его изобретений. Одометр, для измерения пройденных расстояний. Колёса вращаются в точном соотношении, и этот циферблат показывает расстояние. Он придумал его для военных инженеров.

— Изобретательно, — признал Делуан. — Ваш учитель обладал всеобъемлющим умом.

— Быть может, слишком всеобъемлющим, — заметил Монкорне. — Человек, интересующийся всем, в итоге ни в чём не преуспевает.

— Напротив! — горячо возразил Салаи. — Именно потому что он понимал всё, он и преуспевал во всём! Его знание анатомии совершенствовало его живопись. Его этюды гидравлики помогали ему понять движение драпировок. В его уме всё было связано!

Опись продолжалась. Около полудня Матюрина принесла хлеб и сыр. Служащие сделали передышку, но Франческо почти не смог проглотить ни куска — желудок сжимался от тревоги...

Днём атмосфера стала тяжелее. Монкорне, проведший передышку за изучением своих заметок, вернулся с новой решимостью. Он направился к ларцу из драгоценного дерева, что заметил ранее, спрятанному за грудой полотен.

— Что в этом ларце? — спросил он, поднимая его.

Франческо оцепенел. Он забыл про этот ларец.

— Личные бумаги учителя, полагаю. Переписка, административные документы.

— Откройте его.

Руки Франческо слегка дрожали, когда он поворачивал ключ. Внутри действительно оказались письма, договоры, расписки. Монкорне жадно завладел ими.

— Посмотрим... Письма кардинала Арагонского... Феррарского герцога... Мантуанского маркиза... А, вот кое-что интересное!

Он поднял письмо с торжествующей улыбкой:

— Письмо, датированное мартом этого года, то есть за два месяца до смерти учителя. От некоего Оттавиано Малатесты, венецианского торговца произведениями искусства.

Он прочёл вслух:

— *«Достославный мэтр Леонардо, я узнал от нашего общего друга Луиджи Помпи, что вы храните в своей мастерской Иоанна Крестителя необычайной красоты, а также Леду с лебедем, что возмущает благонравных своей языческой чувственностью. Я был бы чрезвычайно заинтересован в приобретении этих двух вещей для моего частного собрания и готов предложить за них щедрую цену. Три тысячи золотых дукатов за Иоанна, две тысячи за Леду. Это значительное предложение, от какого мало кто из художников отказался бы».*

Писец поднял глаза, пристально глядя на Франческо:

— Итак? Где этот Иоанн Креститель и эта Леда с лебедем, упомянутые в этом письме, датированном всего двумя месяцами ранее? Почему мы не встретили их в нашей описи?

Франческо заставил себя дышать ровно, затем ответил с уверенностью, которой был весьма далёк от того, чтобы ощущать её на самом деле:

— Иоанна Крестителя мой учитель одолжил лично Его Величеству королю Франциску три недели назад, незадолго до того, как болезнь окончательно обострилась. Король желал показать его английскому послу, гостившему при дворе. Он хотел доказать, что во Франции живут величайшие художники мира. Итак, творение находится в королевском замке, в личных покоях короля. Вы можете это проверить у камергеров.

Это было дерзкое объяснение — сделать самого короля обладателем недостающего творения. Монкорне не смог бы легко проверить это утверждение, не обратившись напрямую к королевским чиновникам.

— Король одолжил бы это творение?

— «Одолжил» — не совсем верное слово, — ответил Салаи. — Его Величество выразил желание созерцать Иоанна Крестителя, а мой учитель ни в чём не мог отказать королю. Это было ровно двадцать три дня назад. Я прекрасно помню этот день: было воскресенье, после мессы. Два королевских стражника пришли за картиной с обитыми носилками.

Монкорне записал эти сведения, явно недовольный тем, что не может их немедленно проверить.

— А эта Леда с лебедем?

Франческо принял скорбное выражение:

— Ах, Леда... Это трагическая история, мессир. Мой учитель уничтожил её собственными руками в приступе художественной ярости, за месяц до смерти.

— Уничтожил? Творение ценой в две тысячи золотых дукатов?

— Деньги не имели никакого значения для моего учителя, когда речь шла о его искусстве. Он был недоволен исполнением тела, находил, что чувственность композиции склоняется к вульгарности, а не к чистой красоте. Однажды вечером, после визита кардинала де Турнона, оскорблённого наготой Леды, мой учитель впал в ужасный гнев.

Салаи подхватил, добавляя подробности, дабы придать истории больше правдоподобия:

— Я помню ту ночь. Это было 3 апреля, поздним вечером. Маэстро был в состоянии сильного возбуждения. Визит кардинала глубоко его ранил. Он повторял: *«Эта Леда — не моя Леда. Это лишь пародия на то, что я хотел создать. Кардинал прав, это вульгарно, это непристойно! Я стал похотливым старым безумцем!»*. Мы пытались его остановить, но он схватил нож и яростно изрезал полотно. Франческо продолжил:

— Обрывки холста были сожжены прямо в этом камине. Я попытался спасти несколько фрагментов, но учитель приказал мне уничтожить всё. *«Ни следа, Франческо, ни следа этой мерзости!»* — кричал он. Это было... это было страшно — видеть, как такой гений уничтожает собственный труд.

— Примечательно... удобно, — скептически заметил Монкорне. — Ценное творение, упомянутое в недавнем письме, оказывается уничтожено как раз перед описью. А другое находится в замке, вне нашей досягаемости.

— Правда часто менее удобна, чем ложь, мессир, — с оттенком иронии возразил Франческо. — Если бы мы

хотели скрыть эти творения, оставили бы мы это письмо Малатесты в ларце?

Довод попал в цель. Монкорне нахмурился, признавая логику этого замечания.

Нотариус вмешался, почувствовав, что положение накаляется:

— Мы запишем эти объяснения. Если Его Величество владеет Иоанном Крестителем, творение, разумеется, будет включено в общую опись имущества покойного. Что до уничтоженной Леды, мы не можем описывать то, чего больше не существует. Продолжим нашу работу, господа.

Но Монкорне не был удовлетворён. Он продолжал рыться в письмах, внимательно читая каждый документ. Внезапно его лицо озарилось злорадным удовлетворением:

— О, а вот это ещё интереснее!

Он поднял документ:

— Опись! Опись, писанная рукой самого Леонардо да Винчи!

Франческо почувствовал, как почва уходит из-под ног. Он совершенно забыл о существовании этого документа.

— Взгляните на дату: 1516 год, время отъезда из Италии во Францию. Подробный перечень всего, что он вёз с собой. Теперь мы сможем сравнить с тем, что нашли сегодня, и точно установить, чего недостаёт!

Писец принялся читать с явным ликованием:

— *«Портрет флорентийской Дамы, именуемый Джокондой»* — присутствует. *«Композиция со святой Анной, Девой и Младенцем»* — присутствует. *«Иоанн Креститель»* — отсутствует, вы утверждаете, что он в замке. *«Леда с лебедем»* — отсутствует, вы утверждаете, что она уничтожена.

Он продолжал, его голос становился всё более обвинительным:

— *«Двенадцать больших переплетённых тетрадей, содержащих полные анатомические этюды»* — я насчитываю лишь три в нашей нынешней описи. Где остальные девять? *«Трактат о полёте птиц в восьми тетрадах»* — полностью отсутствует. *«Исследования по гидравлике в шести тетрадах»* — отсутствуют. *«Этюды человеческих пропорций по Витрувию, четыре тетради»* — отсутствуют. *«Трактат о живописи в десяти тетрадах»* — я вижу здесь только две!

Писец поднял глаза, пронзительно глядя на Франческо:

— Как вы объясните, что более половины рукописей, упомянутых в этой описи 1516 года, больше не находятся в мастерской в 1519-м? Куда они делись? Испарились?

Франческо почувствовал, как пот струится по его спине. Он глубоко вздохнул и пустился в заранее подготовленное объяснение:

— Эти рукописи были розданы учителем перед смертью, как я вам уже объяснял. Но не только друзьям в Амбуазе. Некоторые были отправлены в Италию, учёным и учреждениям, что могли бы найти им достойное применение.

— В Италию? — воскликнул Монкорне. — Ваш умирающий учитель отправлял рукописи в Италию?

— Он хотел, чтобы его знания вернулись на родину, — объяснил Франческо. — Анатомические этюды, например, были подарены преемнику доктора Маркантонио делла Торре в Павийском университете. Это было обещание, данное им давным-давно. В этой стопке есть письма на этот счёт, если хотите с ними ознакомиться. Франческо поспешно порылся в бумагах и извлёк неоднозначное письмо:

— Взгляните, это письмо профессора Беренгарио да Карпи с просьбой уточнить некоторые анатомические наблюдения. Мой учитель отправил ему в ответ три тетради.

— Что до трактата о полёте, — сказал Салаи, — он был поделён между несколькими лицами. Мессир де Вильруа получил часть — его интересуют военные машины. Граф де Линьи получил другую часть — он мечтает построить летательные машины. Инженер Доменико да Кортоня, проездом бывший здесь два месяца назад, увёз две тетради в Италию.

Франческо продолжал, отчаянно импровизируя:

— Гидравлические исследования были отправлены инженеру Джироламо да Милано, что строит каналы для папы. Такова была воля учителя: чтобы его открытия служили конкретным делам, а не гнили в сундуках.

Монкорне слушал с явным скептицизмом:

— Какая необычайная щедрость! Ваш учитель раздал десятилетия исследований за несколько недель! И каким чудом парализованный человек организовал бы все эти отправления?

— Он не был парализован постоянно, — возразил Салаи.

— У него бывали минуты ясности, лучшие дни. И это мы исполняли его распоряжения. Не так ли, Франческо?

— Именно так. Учитель диктовал свои указания, мы писали сопроводительные письма, устраивали отправку. Наш верный Баттиста может это подтвердить — он отнес несколько свёртков на почтовую станцию Амбуаза.

Монкорне обернулся к слуге, стоявшему у двери:

— Это правда?

Баттиста, застигнутый врасплох, но понимая, что поставлено на карту, кивнул:

— Да, мессир. За последние месяцы я относил несколько свёртков. Запечатанные свитки, адресованные разным лицам во Франции и Италии.

— И вам не показалась странной эта внезапная лихорадка раздачи?

— Учитель знал, что умирает, мессир. Он хотел привести свои дела в порядок.

Писец записал все эти имена, непрерывно добавляя новые пункты в свой список лиц, подлежащих допросу:

— Мы всё это проверим. Будьте уверены. Каждое имя будет проверено. Каждая недостающая рукопись будет разыскана. И если мы обнаружим, что вы нам солгали...

Он оставил угрозу повиснуть в воздухе.

— Последствия будут ужасны. Кража имущества, причитающегося короне, карается смертной казнью. Я уже говорил вам это, но хочу, чтобы это было предельно ясно.

— Мне нечего бояться правды, — ответил Франческо.

Опись возобновилась в ещё более напряжённой атмосфере. Монкорне теперь рассматривал каждую вещь с систематической подозрительностью. Он искал следы недавних манипуляций, проверял пыль на полках, осматривал износ переплёттов.

Около семнадцатого часа, когда свет угасал и нужно было зажечь свечи, писец сделал новое тревожное открытие. Отодвигая стопку полотен, он обнаружил участок стены, где штукатурка казалась иной, более свежей.

— Что это такое? — спросил он, постукивая по стене. — Похоже, эту стену недавно заново отделывали.

Сердце Франческо чуть не остановилось. Это было одно из мест, где они замуровали рукописи. А ведь Салаи клялся, что безупречно состарил штукатурку.

— Эта стена была отремонтирована шесть месяцев назад, — объяснил Франческо, стараясь сохранять обычный голос. — Здесь были протечки воды, угрожавшие повредить творения. Учитель вызвал каменщика из Тура, мэтра Гийома Пишона. Вы можете это у него проверить.

Монкорне рассмотрел стену ближе, слегка царапая штукатурку ногтем:

— Шесть месяцев, говорите? Эта штукатурка кажется более свежей.

— Влажность от Луары, мессир. Она мешает штукатурке полностью высохнуть. Любой каменщик округи вам это подтвердит.

Писец не был убеждён, но без прямых доказательств ничего не мог поделать. Тем не менее он занёс это наблюдение в свою тетрадь.

Опись наконец подошла к концу, когда наступила ночь. Свечи отбрасывали пляшущие тени на стены, создавая призрачную атмосферу. Секретарь Руссо, измождённый, высушивал свои последние записи, посыпая их мелким песком.

— Итак, — объявил Делуан, убирая свои принадлежности.

— Опись завершена. Мы учли двадцать три картины и расписные панели, сто тридцать семь рисунков, двадцать шесть переплетённых рукописей, около двухсот разрозненных листов, сорок три научных прибора и различные личные вещи.

Он обернулся к Франческо и Салаи:

— Мессиры, согласно праву обена, всё это имущество становится собственностью Его Величества. Сержанты приступят к вывозу самых ценных предметов для перевозки в королевский замок, где они будут храниться и оберегаться...

Франческо молча склонил голову, не в силах произнести ни слова. Горло его сжималось от волнения — смеси скорби по утраченным творениям и тайного облегчения за то, что им удалось спасти.

Тогда в мастерскую вошли оба сержанта, неся крепкие деревянные ящики и рулоны защитной ткани. Они приблизились с непривычной для людей, привыкших к жёстким конфискациям, почтительностью.

— Соблюдайте величайшую осторожность, — приказал Делуан. — Эти творения бесценны и чрезвычайно хрупки. Малейшая неловкость может причинить непоправимый ущерб. Его Величество нам этого никогда не простит.

Джоконда стала первым творением, покинувшим мастерскую. Сержанты приблизились к ней с почти религиозным почтением. Рыжий великан Мортен, обычно грубый, обращался с картиной с удивительной нежностью.

— Тихо, Жак, — прошептал он своему товарищу. — Это она, та Дама, о которой все говорят. Смотри, как она следит за нами взглядом.

— У меня мурашки по коже, — ответил тот, вздрогнув. — Кажется, она живая.

Делуан лично руководил упаковкой. Сперва он обернул картину несколькими слоями тонкого льняного полотна:

— Осторожно с углами. Именно там дерево наиболее хрупко. Вот так, теперь шерстяное покрывало. Нет, не так! Нужно, чтобы оно было идеально натянуто, дабы избежать трения.

Нотариус потел, несмотря на вечернюю прохладу. Ставка была велика — повредить Джоконду означало бы катастрофу как политическую, так и художественную.

Франческо приблизился:

— Позвольте мне помочь вам, мессир. Я знаю хрупкость этого творения. Доска имеет лёгкую склонность выплываться от влажности. Нужно поддерживать равномерное давление.

Вместе они уложили картину в ящик, обитый красным бархатом. Делуан велел принести мелкие древесные опилки, дабы заполнить пустоты:

— Эти опилки поглотят толчки во время перевозки. Это приём, что я узнал при перевозке творений покойного монсеньора Амбуазского.

Салаи наблюдал за сценой со слезами на глазах:

— Она навсегда покидает эту мастерскую. Учитель говорил, что она — его зеркало, что он видел в ней себя.

— Что вы имеете в виду? — с любопытством спросил Руссо.

— Учитель говорил, что всякий художник вкладывает свою душу в своё творение. Эта Дама — сам Леонардо. Его тайна, его меланхолия, его мудрость... Всё здесь, в этой улыбке.

Монкорне, наблюдавший за упаковкой другой картины, цинично бросил:

— Прекрасная поэзия, но это лишь живопись. Товар большой ценности, разумеется, но всё же товар.

Франческо обернулся к нему со сдержанным гневом:

— Товар? Вот как вы видите гений? Как имущество, подлежащее описи, оценке, конфискации?

— Так его видит закон, — возразил писец. — А я слуга закона.

— Закон может владеть материальным носителем, — вмешался Франческо, — но никогда не завладеет духом, что его оживляет. Эта картина будет тревожить тех, кто на

неё смотрит, ещё долго после того, как ваши законы будут забыты.

— Посмотрим. А пока это собственность короля Франции.

Вывоз творений продолжался методично. Святую Анну упаковали с той же тщательностью. Затем настал черёд других картин, одной за другой. Каждый отъезд был душевной раной для Франческо и Салаи.

Когда настал черёд рукописей, Франческо предпринял последнюю попытку:

— Мессирь, эти тетради содержат весьма технические заметки, часто непонятные без пояснений. Позвольте мне снять с них аннотированные копии для Его Величества. Я мог бы перевести зеркальное письмо, объяснить технические термины...

— Об этом не может быть и речи, — оборвал его Монкорне. — Всё должно уйти немедленно. Если король пожелает объяснений, он вас вызовет.

Рукописи поместили в сундуки, обитые фетром. Франческо наблюдал, как исчезает каждая тетрадь, мысленно испытывая облегчение оттого, что самые важные из них надёжно спрятаны.

Около двадцатого часа, когда сержанты грузили последние ящики, произошёл случай, едва не погубивший всё. Передвигая тяжёлый стол, один из сержантов задел стену, где были спрятаны рукописи. Кусок штукатурки отвалился, обнажив полость.

— Мессир! — вскричал сержант. — За этой стеной что-то есть!

Франческо почувствовал, как кровь отхлынула от лица. Монкорне бросился к стене с факелом в руке:

— Что вы видите?

Сержант поскрёб штукатурку, расширяя отверстие:

— Похоже... пустое пространство. Быть может, старая ниша.

Сердце Франческо билось так сильно, что он был уверен, что все могут его услышать. Но чудом отверстие, проделанное сержантом, обнажило лишь пустую часть тайника — рукописи были сложены дальше, невидимые под этим углом.

— Это старые вытяжные ходы, — быстро заявил Баттиста, наблюдавший за сценой. — Этой усадьбе больше ста лет. Здесь повсюду замурованные проходы, старые дымоходы, ходы. Каменщик, что ремонтировал эту стену, должно быть, наткнулся на один из них.

Монкорне подозрительно осмотрел отверстие:

— Расширьте эту дыру. Я хочу видеть, что там за ней.

— Мессир, — вмешался Делуан, — уже поздно. У нас есть основная часть описи. Если хотите провести более тщательные поиски, вернитесь завтра с работниками. А пока закончим то, что начали.

Писец заколебался, затем неохотно согласился:

— Пусть так. Но я вернусь. И прикажу простучать все стены этой мастерской, если понадобится.

Франческо обменялся взглядом с Салаи. Они выиграли отсрочку, но на сколько времени?

Физическая опись была теперь завершена. Руссо собрал свои пергаменты, проверяя, что каждая страница правильно пронумерована и подписана. Делуан приложил свою красную восковую печать внизу окончательного документа.

— Официальная опись имущества Леонардо да Винчи насчитывает шестьдесят три страницы, — торжественно

объявил он. — Она будет сдана в Счётную палату, а копия вручена Его Величеству.

Монкорне добавил:

— Мессеры Мельци и Салаи, отныне вы хранители этой опустевшей мастерской, покуда Его Величество не решит её судьбу. Вам формально запрещено что-либо выносить или изменять. Стража будет регулярно проверять, что всё остаётся в неизменном виде.

— На какой срок? — спросил Салаи.

— До нового распоряжения. Быть может, несколько недель, быть может, несколько месяцев. Это будет зависеть от королевской воли.

Делуан, более сочувственный, добавил:

— Вы пока можете продолжать жить в усадьбе. Его Величество признаёт услуги, оказанные вами покойному. Но будьте готовы уехать, когда придёт приказ.

Служащие начали собирать свои вещи. Повозки во дворе были теперь нагружены ящиками, содержавшими художественное сокровище Леонардо. Волы дышали паром в свежем ночном воздухе.

Прежде чем уйти, Делуан подошёл к Франческо:

— Я понимаю вашу боль, юноша. Видеть, как уходит творение вашего учителя... Но знайте: оно будет сохранено. Король питает глубокое уважение к Леонардо да Винчи. Эти творения будут окружены всяческими почестями.

— Почестями, подобающими военной добыче, — с горечью прошептал Франческо.

Нотариус вздохнул:

— Закон суров, но это закон. Вашему учителю следовало об этом подумать.

— Мой учитель полагал, что гений превышает человеческих законов.

— Быть может. Но мы живём в мире людей, а не гениев.

Монкорне, слышавший этот обмен репликами, приблизился:

— Последнее предупреждение, Мельци. Я расследую каждое ваше утверждение. Я допрошу каждого человека, что вы упомянули. Если я обнаружу малейшую ложь, малейшее сокрытие...

— Вы найдёте лишь правду, мессир.

— Посмотрим. А пока советую вам не покидать Амбуаза. Моё терпение имеет пределы.

С этими угрожающими словами служащие покинули усадьбу. Франческо и Салаи смотрели, как они уходят, из окна разорённой мастерской. Факелы эскорта удалялись в ночь, унося с собой часть души Леонардо.

Когда шум повозок затих, Салаи опустился на табурет, обессиленный:

— Боже мой, Франческо, я думал, что мы погибли, когда стена обрушилась!

— Нам повезло. Но Монкорне вернётся. Нам нужно перенести спрятанные рукописи этой же ночью.

— Этой ночью? Но мы изнурены!

— Именно поэтому. Они не будут ожидать, что мы действуем так быстро. Баттиста нам поможет. Мы вынесем рукописи и рассредоточим их. Часть — к надёжным друзьям, часть — в крипту церкви Сен-Дени.

Матюрина вошла в мастерскую с новыми свечами:

— Мессеры, вам следует что-нибудь поесть. Вы ничего не проглотили за весь день.

— Позже, Матюрина. У нас есть работа.

Домоправительница взглянула на них с тревогой:

— Будьте осторожны, мессеры. У стен есть уши. А про Монкорне говорят, что у него повсюду шпионы.

— Мы будем осторожны.

Когда она ушла, Франческо обернулся к Салаи:

— Нам нужно ещё написать эти письма задним числом. Дабы создать видимость, что дарения действительно имели место. У меня сохранилась состаренная бумага и выцветшие чернила.

— Ты обо всём подумал.

— Стараюсь. Учитель научил меня предвидеть. *«Наблюдай, анализируй, предугадывай»*, — всегда говорил он.

Следующие часы они провели, бережно извлекая рукописи из тайников. Каждую тетрадь обернули вощёным полотном, затем сложили в мешки из джута.

Около полуночи, когда они уже готовились перенести первую партию, Баттиста вернулся из города с тревожными новостями:

— Мессеры, у меня дурные вести. Монкорне уже начал своё расследование. Он послал людей к доктору Фернелю и к аббату Сен-Флорентен. Он хочет проверить ваши показания уже завтра утром.

Франческо выругался сквозь зубы:

— Он не теряет времени. Баттиста, тебе нужно немедленно отправиться в Тур. Отнеси этот свёрток доктору Фернелю с этим письмом. Скажи ему, что это вопрос жизни и смерти.

Он протянул слуге маленькую картину — этюд рук, не имевший большой ценности, — и тщательно составленное письмо.

— А для аббата?

— Салаи этим займётся. Он отправится до рассвета с этюдом растений. Аббат — добрый человек, он поймёт.

Ночь была долгой и изнурительной. Они перенесли рукописи, изготовили поддельные документы, подготовили своих свидетелей. Когда над Амбуазом возшла заря, всё было готово к продолжению их великой мистификации.

Франческо в последний раз оглядел пустую мастерскую. Джоконда, казалось, насмеялась над ним. Но в тайных схронах, в спрятанных сундуках, на пыльных чердаках выживала суть гения Леонардо.

— Простите нас, учитель, — прошептал он. — Мы делаем то, что должны делать.

6 мая 1519 года, похороны

На следующее утро, 6 мая 1519 года, над Амбуазом возшла заря в густом тумане, поднимавшемся от Луары.

Официальные похороны должны были пройти с великой торжественностью, в присутствии короля Франциска Первого и всего двора в полном составе, что требовало согласовать доступность многочисленных участников церемонии.

Поэтому было спешно проведено первое временное погребение, без литургии. Франческо медленно приблизился к гробу. Крышка была ещё открыта. Он мог в последний раз видеть лицо своего учителя.

Леонардо покоился со скрещёнными на груди руками, облачённый в свой самый нарядный наряд из тёмно-багрового бархата, отороченный соболем, — тот, что он носил на королевских аудиенциях. Его длинные седые волосы, тщательно расчёсанные, ниспадали на плечи. Борода, также седая, была подстрижена и умощена миррским маслом. Кто-то — вероятно, Баттиста —

положил ему на грудь маленькое распятие из слоновой кости.

Но именно лицо его приковывало внимание. В смерти Леонардо обрёл покой, какого не знал при жизни. Морщины тревоги, что бороздили его лоб, разгладились. Горькие складки вокруг рта исчезли. Он казался спящим, просто спящим, будто вот-вот откроет глаза и скажет своим глубоким голосом: *«Франческо, мальчик мой, мне приснился самый странный сон...»*

Но глаз ему больше не суждено было открыть.

Тело было погребено на свободном участке амбуазского кладбища в присутствии лишь двух учеников, нескольких близких, королевского чиновника и священника.

Официальные похороны состоялись три месяца спустя, 12 августа 1519 года.

В тот день гроб был извлечён и перенесён в усадьбу шестью королевскими стражниками.

Франческо не спал всю ночь. Стоя у окна своей комнаты, он смотрел, как город медленно пробуждается, созная, что этот день ознаменует окончательный конец целой эпохи.

Колокола часовни Сен-Флорентен начали звонить погребальный звон — низкий, повторяющийся, неумолимый звук, разносившийся по долине, точно упрёк, обращённый к самим небесам.

Дон. Дон. Дон.

Каждый удар колокола был остановившимся сердечным биением, дыханием, которому не суждено было вернуться. Франческо закрыл глаза, позволяя звуку захлестнуть его, пронзить. Он не плакал со дня смерти учителя.

Салаи вошёл в комнату без стука. Он тоже не спал. Глаза его были красны, опухли от слёз и усталости. Он был в траурной одежде — чёрном бархатном камзоле, чёрных

чулках, тёмном плаще. В руке он держал ларец из драгоценного дерева.

— Пора, — просто сказал он. — Они пришли за гробом. Франческо молча кивнул. Он надел собственное траурное одеяние, машинально разглаживая складки плаща. Руки его слегка дрожали. Ему было двадцать девять лет, и ему предстояло похоронить человека, что был больше чем учителем, больше чем отцом — того, кто научил его видеть мир глазами разума и красоты.

Они спустились по лестнице вместе. В прихожей их ждали Баттиста и Матюрина, тоже одетые в чёрное. Домоправительница держала четки в узловатых пальцах и беспрестанно шептала молитвы. Баттиста, с застывшим лицом, нёс свечу из белого воска.

Гроб покоился в большой зале, на подставках, задрапированных чёрным бархатом с золотым шитьём. Это был гроб простой, но достойный, из массивного дуба. Никаких чрезмерных украшений, никакой показной резьбы — лишь благородное дерево и маленькая медная табличка с гравировкой: *Леонардо да Винчи, Pictor Regius, 1452–1519.*

Десятки свечей горели, создавая золотистый дрожащий свет, отчего казалось, будто тени пляшут на стенах. Воздух был насыщен запахом пчелиного воска, смешанным с ароматическими травами — розмарином, лавандой, тимьяном, — которыми покрыли гроб, дабы скрыть запах разложения тела.

Франческо положил руку на край гроба, чтобы не пошатнуться. Острая боль пронзила ему грудь, столь сильная, что на миг он подумал, что тоже умрёт. Как мог мир продолжать вращаться без Леонардо? Как смело солнце всходить, птицы петь, люди заниматься своими

делами, тогда как тот, кто постиг тайны природы, лежал недвижим в деревянном ящике?

Салаи опустил на колени и открыл ларец, что нёс с собой. Внутри лежало несколько вещей: тетрадь рисунков — наброски, что Леонардо сделал с Салаи, когда тот был молод, красив, беспечен; поношенная кисть, та, что учитель предпочитал для самых тонких деталей; маленькая склянка с флорентийской землёй, что Леонардо бережно хранил все годы своего изгнания.

— Учитель просил меня положить эти вещи рядом с ним, — объяснил Салаи надломленным голосом. — Он хотел взять с собой немного своего искусства, немного своей родины.

— Простите, маэстро, — прошептал он. — Простите, что я не всегда был на высоте. Простите мои капризы, мои гневные вспышки, мою ревность. Вы были терпеливы со мной, когда я заслуживал лишь упреков. Вы любили меня, несмотря на все мои недостатки.

Он рухнул на гроб, содрогаясь от бурных рыданий, что исторгали из него почти звериные стоны. Франческо опустил на колени рядом с ним, обняв его за плечи. Он тоже плакал теперь, слёзы свободно текли по его щекам.

— Он знал, Салаи. Он знал, что ты его любил. Он сказал мне это накануне своей смерти. *«Мой прекрасный Салаи, — прошептал он, — мой демон с ангельскими глазами. Он погубил мою жизнь и озабил мои дни. Я ни о чём не жалею».*

Салаи поднял голову, ища в глазах Франческо подтверждения, что эти слова были правдой.

— Он это сказал?

— Клянусь своей душой.

Прошло мгновение молчания. Затем Франческо добавил:

— Теперь моя очередь.

Из кармана он вынул маленький предмет, завернутый в красный шёлковый лоскут — ту же самую ткань, что годами укрывала Джоконду.

— Учитель, вы подарили мне это десять лет назад, в день, когда я официально стал вашим учеником. Вы сказали мне: *«Франческо, этот циркуль принадлежал моему собственному учителю, Андреа дель Верроккьо. Он подарил его мне, сказав, что искусство есть не только вдохновение, но и точность. Сегодня я передаю его тебе. Используй его с пользой»*.

Он развернул шёлк, обнажив бронзовый циркуль старинной работы, отполированный десятилетиями использования. На его ветвях были выгравированы крошечные латинские надписи.

— Я старался использовать его с пользой, учитель. Я старался быть достойным вашего учения. Но теперь... теперь, когда вас больше нет рядом, чтобы вести меня, мне страшно. Мне страшно, что я недостаточно силен, недостаточно умён, недостаточно храбр, чтобы защитить ваше наследие. Возьмите этот циркуль с собой. Пусть он напоминает вам, где бы вы теперь ни были, что ваше учение продолжает жить в нас.

Он бережно положил циркуль на гроб.

Баттиста в свою очередь приблизился. Верный слуга, что три года заботился об удобствах учителя, держал простую свечу из белого воска.

— Маэстро, — просто сказал он, — вы обращались со мной по-доброму, тогда как другие прогнали бы меня. Вы говорили со мной как с равным, тогда как другие обращались со мной как с собакой. Эту свечу я буду зажигать каждый год в годовщину вашей смерти. Пока я жив, память о вас будет гореть.

Он положил свечу на гроб, затем медленно перекрестился.

Последней была Матюрина. Старая домоправительница дрожа приблизилась, прижимая чётки к груди. Она ничего не сказала — ей никогда не давались слова, — но положила маленький холщовый мешочек с засушенными цветами из сада, что Леонардо так любил.

Стук в дверь прервал этот миг близости. Вошли четверо мужчин — профессиональные носильщики из братства Чёрных кающихся, в длинных тёмных рясах с капюшонами. За ними стоял отец Антуан, капеллан, что причастил Леонардо перед смертью.

— Мессире, — с серьёзностью произнёс священник, — час настал. Процессия должна выступить, если мы хотим прибыть в Сен-Флорентен до мессы.

Франческо кивнул, не в силах говорить.

Носильщики подняли гроб и водрузили его на плечи. Отец Антуан начал глубоким голосом: *«In paradisum deducant te Angeli...»* — *«Да проводят тебя ангелы в рай...»*

Процессия построилась. Впереди шли двенадцать мальчиков-певчих в белых стихарях, неся кадила, из которых поднимались завитки благовонного дыма. За ними — отец Антуан, держащий большой позолоченный процессионный крест. Затем следовали носильщики с гробом. И наконец, замыкая шествие, Франческо, Салаи, Баттиста и Матюрина, за которыми шла небольшая толпа слуг, ремесленников и соседей, знавших Леонардо.

Они вышли из усадьбы в серый утренний свет. Туман медленно поднимался, обнажая по частям окружающий пейзаж. Сады, где Леонардо провёл столько часов, наблюдая за растениями, птицами, насекомыми. Аллею кипарисов, что он велел посадить по своём приезде, говоря, что они напоминают ему о Тоскане. Маленький павильон, где он порой размышлял на закате.

Процессия вступила на дорогу, спускавшуюся к городу. Погребальный звон продолжал звучать, отбивая ритм их скорбного шествия. Жители Амбуаза выходили из своих домов, привлечённые звоном колоколов.

Они стояли на порогах своих домов, безмолвные, с непокрытыми головами в знак уважения. Некоторые крестились. Другие преклоняли колена. Одна старуха плакала открыто, прижимая к себе грубую копию Мадонны Леонардо, что купила у бродячего торговца и почитала как священную икону.

Франческо наблюдал за этими простыми людьми, что чтили память человека, которого никогда по-настоящему не знали, которого видели лишь издали, но о котором слышали как о существе, стоящем на полпути между человеком и ангелом. Для них Леонардо был не просто живописцем — он был волшебником, мудрецом, быть может, пророком. Рассказывали, что он умел читать будущее по звёздам, что постиг тайны жизни и смерти.

Процессия перешла мост через Луару. Река текла медленно, её серые воды отражали затянутое небо. Леонардо любил эту реку. *«Вода — колесница природы»*, — говорил он. *«Она в вечном движении, как сама жизнь»*.

На другом берегу толпа была плотнее. Собрались десятки людей — ремесленники, купцы, дворяне, священнослужители. Франческо узнал несколько знакомых лиц: Жана Перреаля, королевского живописца, что низко склонился при проходе гроба; Пьера де Наварра, королевского инженера, что плакал без сдержанности;

И вдруг движение в толпе. Люди расступались, падали на колени. Пронёсся шёпот: *«Король! Король!»*

Появился Франциск Первый, верхом на белом коне, в сопровождении небольшой свиты. Он был в полном

трауре — чёрный бархат, чёрный плащ, даже его шляпа с перьями была чёрной. Его лицо, обычно столь радостное и уверенное, было измощено скорбью. Глаза его были красны. Видно было, что он плакал.

Он спешил и приблизился к процессии. Носильщики остановились, бережно опустили гроб на землю. Король преклонил колена в дорожной пыли — король Франции, могущественнейший человек Европы, на коленях в грязи перед гробом чужеземного живописца.

— Леонардо, — надломленным голосом прошептал он. — Отец мой. Учитель мой. Друг мой.

Он положил обе руки на гроб, склонив голову, и оставался так долгое время. Франческо видел, как дрожали его плечи. Король плакал.

Наконец Франциск Первый поднялся. Он обернулся к Франческо и Салаи:

— Мессирь, — сказал он хриплым голосом, — я хочу, чтобы вы знали: Франция никогда не забудет того, что принёс ей ваш учитель. Его гений озарил мой двор. Его мудрость направляла мои решения. Его присутствие... его присутствие согревало моё сердце, как солнце согревает землю.

Он замолчал, борясь со слезами.

— Я хотел дать ему всё. Усадьбу. Пенсии. Почести. Но что это по сравнению с тем, что он мне передал? Он научил меня видеть. До того, как я его узнал, я смотрел на картину и видел лишь изображение. Теперь я вижу свет, тень, композицию, душу. Он открыл мне глаза на красоту мира. Франческо низко поклонился:

— Ваше Величество чтит память моего учителя этими словами. Он часто говорил о вас с глубокой привязанностью. Вы были для него сыном, которого у него никогда не было.

Король, не стыдясь, отёр глаза:

— А он был для меня отцом, какого мне хотелось бы иметь. Мой родной отец умер, когда мне было двадцать лет. Леонардо заполнил эту пустоту. Когда у меня возникала трудная задача, я обращался к нему. Когда я сомневался, я искал его мудрости.

Он в последний раз обернулся к гробу:

— Addio, padre mio. Пусть Бог примет твою душу среди святых и мудрецов. Ты прожил как человек, ты умрёшь как легенда.

Король снова сел на коня и подал знак процессии продолжать путь. Но сам он не тронулся с места. Он остался там, на своём белом коне, глядя, как похоронное шествие вновь пускается в путь. И когда гроб проходил перед ним, Франциск Первый снял шляпу и низко поклонился — король, склоняющийся перед своим подданным.

Процессия продолжила путь к церкви Сен-Флорентен, куда король присоединился немного позже. Толпа теперь следовала за ними, разрастаясь на каждом углу улицы. Сотни людей шли за гробом, образуя длинную чёрную процессию, что вилась по улицам Амбуаза.

Церковь Сен-Флорентен возвышалась на небольшом холме, господствуя над городом. Это было скромное, но изящное здание, построенное двумя веками ранее в стиле пламенеющей готики. Её шпили устремлялись к небу, точно каменные молитвы. Витражи, освещённые изнутри сотнями свечей, сияли, точно многоцветные самоцветы среди серости дня.

Двери церкви были распахнуты настежь. Внутри было занято каждое пядь пространства. Дворяне в придворных одеяниях, горожане в лучших нарядах, ремесленники в чистой рабочей одежде, крестьяне в сабо — все собрались

отдать последнюю дань тому, кто почтил их город своим присутствием. Король занял место в первом ряду.

Носильщики перенесли гроб к алтарю и поставили его на катафалк, задрапированный пурпурным бархатом. Воздух был густ от ладана — аромата мирры и бензоа, что поднимался завитками к сводам.

Отец Антуан поднялся на кафедру. Это был старик со строгим, но добрым лицом, что провёл сорок лет, служа этому приходу. Его голос, всё ещё сильный, несмотря на возраст, зазвучал в безмолвной церкви:

— Братья мои, сёстры мои, мы собрались сегодня, дабы отдать последнюю дань исключительному человеку. Леонардо да Винчи не был просто художником, не был просто учёным. Он был искателем истины в мире теней. Он был создателем красоты в мире уродства. Он был человеком веры в мире сомнения.

Он умолк, дав своим словам прозвучать.

— Иные говорят, что он был еретиком. Что он вскрывал мёртвых, оскверняя тем самым храмы Божии. Что он стремился летать, подобно ангелам, бросая тем вызов воле Создателя. Что он задавал слишком много вопросов, слишком много сомневался, слишком много искал.

Священник обвёл взглядом собравшихся:

— Этим я отвечу: что есть вера, если не поиск истины? Что есть любовь к Богу, если не созерцание Его творения? Леонардо да Винчи провёл жизнь, изучая деяние Божие. Каждая кость, что он рисовал, каждая мышца, что он изучал, каждый закон природы, что он открывал, — всё это было лишь долгой молитвой восторга перед божественной изобретательностью.

Ропот одобрения прокатился по церкви.

— Он часто говорил мне, — продолжал отец Антуан, — *«Отец мой, когда я вскрываю человеческое тело и вижу совершенную*

сложность его устройства, я не могу не изумляться Создателю, что задумал такую машину. Каждое сухожилие расположено точно там, где ему подобает быть. Каждая кость сформирована точно так, как нужно. Это самое яркое доказательство существования Бога».

Священник умолк, тронутый собственным воспоминанием.

— Леонардо да Винчи был человеком веры. Не веры слепой, не веры, что принимает без понимания, но веры просвещённой, веры, что стремится познать Бога через Его творения. И разве это не высшая форма благочестия?

Он поднял глаза к распятию, венчавшему алтарь:

— Господь наш Иисус Христос сказал нам: *«Ищите, и обряцете»*. Леонардо искал всю свою жизнь. И что он нашёл? Он нашёл красоту. Он нашёл гармонию. Он нашёл законы, что управляют вселенной. И во всём этом он нашёл Бога.

Месса совершалась со всей подобающей торжественностью. Отец Антуан служил Евхаристию с особым вниманием к каждому жесту, к каждому слову. Григорианские песнопения возносились к сводам, несомые чистыми голосами мальчиков-певчих. *«Dies irae, dies illa...»* — *«День гнева, день сей...»*

Франческо, преклонив колена в первом ряду, почти не слушал. Мысли его блуждали, вновь и вновь переживая последние мгновения с учителем. Руку, что сжимала его. Слабый голос, шептавший наставления. Глаза, что медленно угасали, точно свеча, догорающая до конца воска.

«Франческо, — сказал Леонардо в одну из последних минут ясности, — ты останешься один. Такова судьба всех учеников — становиться сиротами своих учителей. Но не печалься. Я не ухожу по-настоящему. Пока ты будешь помнить мои наставления, пока

будешь смотреть на мир глазами, что я научил тебя открывать, я буду с тобой».

Месса подходила к концу. Настал час погребения. Носильщики вновь подняли гроб и понесли его к церковной крипте, сводчатому помещению под алтарём, где уже покоилось несколько десятков местных именитых людей.

Спуск в крипту был труден. Каменная лестница была узка. Носильщикам приходилось двигаться осторожно, чтобы не задеть гроб о стены. Франческо и Салаи следовали за ними, держа факелы, что отбрасывали пляшущие тени на каменные своды.

В крипте пахло сырой землёй и селитрой. Это было холодное, безмолвное место, где время, казалось, замерло.

В каменном полу была вырыта могила. Рядом лежала большая плита белого мрамора, уже с гравировкой: *«Hic jacet Leonardus Vincius, Florentinus, Pictor Regius, qui obiit die II Maii MDXIX»*. — *«Здесь покоится Леонардо да Винчи, флорентиец, живописец короля, скончавшийся 2 мая 1519 года».*

Носильщики опустили гроб к краю могилы. Отец Антуан начал De Profundis: *«De profundis clamavi ad te, Domine...»* — *«Из глубин взываю к Тебе, Господи...»*

Это был миг, которого Франческо боялся больше всего. Миг, когда гроб опустится в землю. Миг, когда всё станет окончательным, необратимым, абсолютным.

Носильщики взяли за верёвки и начали медленно опускать гроб в могилу. Дерево скребло о камень. Звук отдавался в тишине крипты, точно предсмертный крик.

Франческо больше не мог сдерживаться. Он рухнул, упав на колени у края могилы:

— Нет! Ещё не сейчас! Прошу вас, ещё не сейчас!

Салаи схватил его за плечи, пытаясь удержать, но Франческо вырывался:

— Я не готов! У меня не было времени сказать ему всё, что я хотел сказать! У меня не было времени поблагодарить его за всё, что он мне дал!

Голос его сорвался в неудержимых рыданиях. Вся сдерживаемая скорбь теперь прорвалась с силой, что оставила его задыхающимся, опустошённым, сломленным.

Салаи опустился на колени рядом с ним, сжав его в объятиях. Он тоже плакал, но слёзы его были безмолвны, обращены внутрь, почти смирившимися.

— Ему не нужны были слова, он просто любил тебя, — сказал Салаи.

— Откуда ты можешь это знать наверняка?

— Потому что он мне это сказал. За несколько дней до смерти он сказал мне: *«Мой Франческо — лучший из всех нас. Умнее меня, дисциплинированнее, честнее. Он пойдёт дальше, чем когда-либо доходил я. И когда он достигнет вершины горы, на которую я начал восхождение, он подумает обо мне и улыбнётся»*.

Франческо поднял голову, глаза его были залиты слезами:

— Он это сказал?

— Да.

Прошло долгое молчание. Гроб теперь достиг дна могилы. Носильщики вытягивали верёвки. Через несколько мгновений начнут бросать землю.

Франческо склонился над краем могилы. Он в последний раз взглянул на дубовый гроб, что вмещал всё, что физически осталось от Леонардо да Винчи.

— Addio, maestro, — прошептал он. — Спасибо за всё. Я приложу все силы, чтобы быть достойным вас. Я защищу ваше наследие. Я передам ваше учение дальше. И когда придёт мой час, когда я присоединюсь к вам за гранью, надеюсь, вы будете гордиться тем, чего я достигну.

Он взял горсть земли и бросил её в могилу. Она упала на крышку гроба с глухим звуком. Затем то же сделал Салаи. Затем Баттиста. Затем все, кто спустился в крипту.

Могильщики вышли вперёд и приступили к работе. Лопата за лопатой земля покрывала гроб. Звук земли, падавшей на дерево, был невыносим — каждый удар был прощанием, каждая лопата — отречением.

Франческо не мог оторвать взгляда. Он смотрел, как земля поднимается, постепенно скрывая гроб от его глаз. Сначала исчезла крышка. Затем бока. Затем всё скрылось. Оставался лишь холм свежей, тёмной, влажной земли.

Могильщики утрамбовали землю, разровняли её, затем положили сверху тяжёлую мраморную плиту. Звук опустившегося камня отозвался, точно раскат последнего грома. Всё было кончено. Леонардо да Винчи обрёл вечный покой.

Отец Антуан произнёс последние молитвы, совершил последнее крестное знамение, затем пригласил собравшихся подняться наверх. Один за другим люди покидали крипту, поднимаясь к свету дня.

Франческо ушёл последним. Он оставался стоять перед свежей могилой, не в силах сделать первый шаг, что означал бы окончательное принятие. Позади него терпеливо ждал Салаи.

— Франческо, — тихо сказал он, — пора уходить. Дай ему покоиться.

— Как быть? Как жить без него?

— Так, как он нас учил. Наблюдая. Творя. Ища истину. Это наш способ сохранить его живым.

Франческо закрыл глаза, глубоко вздохнул, затем обернулся к лестнице. Каждая ступень, что он преодолевал, приближала его к миру живых и удаляла от

мира мёртвых. Когда он вышел в церковь, свет витражей показался ему мучительно ярким после мрака крипты.

Церковь опустела. Оставалось лишь несколько близких — король удалился, но многие придворные оставались, а также художники и учёные, знавшие Леонардо.

Когда Франческо уже собирался уходить, к нему подошёл человек. Это был старый итальянец с седыми волосами, элегантно одетый. Франческо узнал его тотчас: Доменико делла Палла, флорентийский торговец произведениями искусства, что был другом юности Леонардо.

— Мессир Мельци, — сказал старик с выраженным тосканским акцентом, — позвольте мне выразить вам соболезнования. Леонардо был... он был единственным в своём роде. Другого такого никогда не будет.

— Благодарю вас, мессир. Ваше присутствие чтит его память.

— Я проделал путь из Флоренции. Я должен был быть здесь. Мы с Леонардо провели юность вместе в мастерской Верроккьо. Мы были как братья.

Старик достал из кармана маленький золотой медальон:

— Это принадлежало Леонардо в его юности. Это был подарок отца, сер Пьеро. Леонардо подарил его мне сорок лет назад, той ночью, когда мы слишком много выпили и слишком много говорили о будущем. *«Сохрани его, Доменико, — сказал он мне, — а когда я умру, похорони его вместе со мной».* Я никогда не забывал это обещание.

Он протянул медальон Франческо:

— Не могли бы вы положить его к его могиле? Я слишком стар, чтобы спускаться в крипту.

Франческо взял медальон. Это была простая, но красивая вещица, изображавшая ангела с расправленными крыльями.

— Я это сделаю. Спасибо, что сдержали своё обещание спустя столько лет.

— Сорок лет. Много всего случилось за сорок лет. Мы были молоды, сильны, убеждены, что покорим мир. Леонардо преуспел. Я же остался торговцем. Но я никогда не переставал им восхищаться.

Франческо снова спустился в крипту, на сей раз один. Он опустился на колени у свежей могилы и руками вырыл маленькую ямку в рыхлой земле. Он положил туда медальон, затем бережно засыпал его.

— Подарок вашей юности, маэстро. Пусть ангелы вознесут вас к небесам.

Когда он поднялся, церковь была пуста. Солнце пробилось сквозь облака, и его косые лучи проникали через витражи, отбрасывая цветные пятна на каменный пол. Красный, синий, зелёный, золотой — цвета, что Леонардо так любил, цвета, что он всю жизнь пытался понять и воспроизвести.

Снаружи, на паперти, собралась небольшая толпа. По большей части простые люди, пришедшие просто отдать дань уважения. Некоторые клали цветы у ступеней. Другие зажигали свечи. Женщина пела жалобную песнь по-итальянски, старинную тосканскую песню, что Леонардо порой напевал в мастерской.

Франческо остановился на паперти, наблюдая за этой сценой. Эти люди никогда не знали Леонардо. Они не понимали его научных теорий, не могли в полной мере оценить сложность его картин. Но они знали неким инстинктивным знанием, что ушёл великий человек. И они хотели отметить этот уход, пусть и скромно.

К Франческо подошёл ребёнок. Это был мальчик лет десяти, грязный и оборванный, вероятно, крестьянский сын. Он держал полевой цветок — простую ромашку.

— Мессир, — робко произнёс он, — правда ли, что маэстро Леонардо умел рисовать ангелов такой красоты, что люди плакали?

Франческо опустился на колени, чтобы оказаться на уровне ребёнка:

— Правда. Его ангелы были так прекрасны, что казалось, будто они вот-вот слетят с картины.

— А правда, что он умел делать машины, которые летают?

— Он пытался. Ему так и не удалось, но он пытался.

Ребёнок на миг задумался, затем протянул свой цветок Франческо:

— Не могли бы вы положить это на его могилу? Это всё, что у меня есть, но я хочу, чтобы он знал, что даже я думаю о нём.

Франческо взял цветок, глубоко тронутый:

— Он узнает об этом. Спасибо, малыш.

Он в последний раз вернулся в церковь, спустился в крипту и положил ромашку на могилу. Этот простой цветок, подаренный бедным ребёнком, показался ему более драгоценным, чем все официальные почести, чем все надгробные речи, чем все памятники, что можно было бы воздвигнуть.

Ибо в этом, в конце концов, и заключался истинный гений Леонардо: тронуть не только великих мира сего, но и простых людей. Создать красоту столь всеобщую, что даже деревенский ребёнок мог её почувствовать, даже не понимая.

Франческо поднялся. На пороге церкви он обернулся и взглянул внутрь. Свечи всё ещё горели. Витражи сияли. Но что-то изменилось. Мир теперь стал иным. Меньше. Менее ярким. Менее богатым возможностями.

Он вышел в угасающий день. Толпа рассеялась. Только Салаи и Баттиста ждали его.

— Всё кончено, — просто сказал Салаи.

— Нет, — ответил Франческо. — Ничего не кончено. Это лишь начало.

Он посмотрел на горизонт, в сторону усадьбы Кло-Люсе, что виднелась вдали на своём холме. Там, в тайных схронах, на чердаках, у неприметных сообщников, спали подлинники сокровища Леонардо.

Монкорне конфисковал видимые творения. Король теперь владел Джокондой и другими картинами. Но Франческо преуспел. Он лгал, скрывал, обманывал, подделывал. Он нарушил закон, бросил вызов королю, рисковал виселицей. Но он спас наследие.

И теперь начиналась подлинная миссия: сохранить эти рукописи, скопировать их, изучить их, передать их дальше. Сделать так, чтобы гений Леонардо продолжал жить сквозь века.

— Вернёмся, — сказал он наконец. — У нас есть работа.

Они пустились в обратный путь к Кло-Люсе. Солнце садилось, отбрасывая длинные тени на дорогу. Позади них колокола Сен-Флорентен звонили в последний раз, их печальный звук разносился по долине.

Дон. Дон. Дон.

Прощай, Леонардо. Прощай, учитель. Прощай, отец.

Но не прощай навеки. Ибо гений никогда не умирает. Он преобразается, передаётся, возрождается в иных формах. Картины стареют, трескаются, тускнеют. Рукописи желтеют, рвутся, теряются. Но идеи бессмертны.

И идеи Леонардо да Винчи лишь только начинали своё странствие сквозь вечность.

ГЛАВА 3. ГОДЫ МИСТИФИКАЦИИ

Милан, осень 1519 года

Шесть месяцев прошло со смерти Леонардо да Винчи.

Франческо Мельци созерцал крыши Милана из окна скромной комнаты, что снимал близ Порта-Тичинезе. Город его детства казался ему одновременно знакомым и чуждым. Тринадцать лет отсутствия преобразили герцогскую столицу: возводились новые дворцы, сменяя старые средневековые дома; испанцы, новые хозяева после французского поражения 1515 года, наложили свой архитектурный отпечаток.

Он вернулся не из ностальгии, а по необходимости. После похорон Леонардо, после рассеяния слуг Кло-Люсе, после стычек со служащими королевского Казначейства оставаться во Франции становилось опасно. Каждый день, проведённый в Амбуазе, увеличивал риск, что какая-нибудь подробность их обмана раскроется, что свидетель отречётся от своих слов, что Монкорне возобновит расследование.

Обратный путь был тяжким. Ему пришлось незаметно перевозить изъятые творения: Иоанна Крестителя, снятого с подрамника и свёрнутого в защитные полотна, Леду с лебедем, упакованную так же, и прежде всего десятки рукописей, распределённых по нескольким дорожным сундукам. В Лионе подозрительные таможенники захотели досмотреть его багаж. Ему пришлось дать немалую взятку, чтобы избежать вскрытия ящиков.

Салаи сопровождал его до Лиона, затем решил остаться на несколько недель во Франции, дабы *«уладить личные дела»* — на самом деле незаметно продать несколько малозначительных рисунков и присвоить деньги, не делясь ими. Франческо не стал возражать, слишком

изнурённый, чтобы затевать спор. Их дружба, если она когда-либо по-настоящему существовала, дала трещину со дня смерти учителя. Каждый видел в другом скорее обременительного соучастника, нежели товарища по борьбе.

Обосновавшись теперь в Милане, он должен был заново построить свою жизнь. Ему было двадцать девять лет, никакого ремесла, кроме ремесла ученика покойного учителя, и состояние в произведениях искусства, которое он не мог продать открыто, не привлекая внимания французских или итальянских властей.

Его отец, капитан Джованни Мельци, умер двумя годами ранее, оставив ему небольшую ренту и несколько сельскохозяйственных владений близ Ваприо-д'Адда. Этого хватало для скромной жизни, но недостаточно для поддержания того общественного положения, к которому он стремился. Его братья, управлявшие основной частью семейного имущества, смотрели на него со смесью жалости и презрения: чего можно было ожидать от человека, растратившего юность на служение чужеземному живописцу, вместо того чтобы сделать карьеру в армии или в управлении?

Ему нужно было быстро найти способ обратить это незаконное наследие в деньги, не вызывая подозрений. Но как продать эти вещи, не имея возможности предъявить документы, доказывающие их законное происхождение? Как объяснить их присутствие в его владении, тогда как весь Милан знал, что учитель умер во Франции и что его имущество было описано королевскими служащими?

Ответ пришёл из неожиданного источника.

Союз с Помпео

Однажды ноябрьским утром 1519 года к нему явился элегантный юноша, представившийся как Помпео Бонини, скульптор и коллекционер-любитель. Помпео было двадцать четыре года, у него было тонкое лицо с правильными чертами и та природная уверенность, что свойственна людям, рождённым в достатке. Его отец, Леоне Бонини, был известным скульптором на службе у Карла Пятого, и Помпео унаследовал его художественный дар и связи при европейских дворах.

— Мессир Мельци, — начал он после положенных приветствий, — ваша слава опережает вас. Говорят, вы были любимым учеником великого Леонардо, что вы унаследовали его самые драгоценные творения, что владеете рукописями, хранящими тайны, каких мир никогда не видел.

Насторожившись, Франческо ответил осторожно:

— Слухи всегда преувеличивают, мессир. Я имел честь служить учителю много лет, это правда. Что до наследия, оно куда скромнее, чем рассказывают болтуны.

— Скромнее? — с недоверчивой улыбкой повторил Помпео. — Я слышал о поразительных этюдах, о трактатах о полёте птиц, о рисунках необычайных машин. Это не кажется мне скромным.

Франческо понял, что нужно сменить тактику. Этот Помпео был хорошо осведомлён. Вместо того чтобы отрицать, лучше было прощупать его.

— А если бы эти слухи оказались верны? В чём был бы ваш интерес?

— Мой интерес двоякий. Прежде всего — искреннее восхищение гением Леонардо. Я видел несколько его творений в Риме и Флоренции и был потрясён их красотой. Далее — интерес более... практический. Я знаю

коллекционеров по всей Европе, что заплатили бы целые состояния за подлинные творения учителя. Но эти коллекционеры взыскательны. Им нужны гарантии, доказательства происхождения.

— Вы предлагаете помочь мне продать?

— Я предлагаю стать вашим посредником. У вас есть творения, но нет связей. У меня есть связи, но нет творений. Вместе мы могли бы построить нечто весьма прибыльное.

Франческо изучал юношу. Можно ли ему доверять? Или это ловушка? Тайный агент, посланный французами или миланскими властями, дабы его изобличить?

Он решил рискнуть, раскрыв ровно столько, чтобы проверить реакцию Помпео.

— Вы правы. Я владею несколькими важными творениями. Но их происхождение... сложно. Учитель умер во Франции, а французские законы о наследстве чужеземцев драконовски суровы. Мне удалось спасти некоторые вещи, но не все. И у меня нет официальных документов на все, что я спас.

— Я так и подозревал. Именно поэтому вам нужен я. Я могу создать необходимую документацию, установить правдоподобную цепочку происхождения, найти подходящих покупателей, что не станут задавать слишком неудобных вопросов.

— Создать документацию? Вы говорите о поддельных бумагах?

— Я избежал бы столь резкого слова. Скажем лучше, что я могу... восстановить историю этих творений так, чтобы удовлетворить требованиям закона, при этом защитив ваши законные интересы. В конце концов, эти творения принадлежат вам по праву, разве нет? Вы годами служили

учителю. Это французский закон мешает вам ими пользоваться.

Эта софистика понравилась Франческо.

— Какова будет ваша комиссия?

— Двадцать процентов от продажной цены. И время от времени доступ к рукописям для моих собственных художественных занятий. Я скульптор. Анатомические этюды Леонардо чрезвычайно меня интересуют.

Двадцать процентов — это было немало. Но иметь хорошо связанного сообщника стоило этой цены. И Помпео, казалось, интуитивно понимал тонкости положения.

— Пусть так, — согласился Франческо. — Но на определённых условиях. Во-первых, полная скрытность. Во-вторых, вы ничего не продадите без моего предварительного согласия. В-третьих, некоторые вещи не продаются, что бы ни случилось.

— Иоанн Креститель?

Франческо вздрогнул.

— Откуда вы знаете, что он у меня?

— Простое умозаключение. Учитель работал над этой картиной в свои последние годы. Она была в его мастерской в Кло-Люсе. Однако, судя по тому, что я слышал, французские служащие её не описали. Куда бы она могла деться, если не к вам?

Франческо понял, что имеет дело с необычайно проницательным умом. Помпео был не просто посредником. Это был аналитик, наделённый исключительным умом.

— Хорошо. Иоанн Креститель у меня. И вы правы, он не продаётся. Никогда.

— Я это уважаю. Есть творения, которые не продают, которые нельзя продать. Они слишком драгоценны, слишком нагружены личным смыслом.

Это интуитивное понимание скрепило их союз. В последующие дни Франческо показал Помпео весь размах своего сокровища. Молодой скульптор застыл в изумлении перед рукописями, зачарованный точностью рисунков, поражённый дерзостью наблюдений.

— Вы понимаете, чем вы владеете? — воскликнул он, перелистывая тетрадь с изображениями вскрытий сердца.

— Эти рисунки опережают нынешнюю медицинскую науку на несколько столетий! Если бы эти труды опубликовали, они потрясли бы медицину!

— Именно поэтому их нужно было спасти, — с жаром ответил Франческо. — Учитель посвятил этим изысканиям двадцать пять лет. Я не мог допустить, чтобы эти сокровища конфисковали невежественные королевские служащие, что выбросили бы их или продали бы торговцам бумагой.

— Вы не оппортунист, укравший наследство. Вы хранитель, спасший сокровище. Это совсем другое дело.

Это нравственное разграничение, что Франческо старался удерживать в своём уме, было укреплено одобрением Помпео. Да, он украл. Но украл ради благой цели. Это было добродетельное преступление, если такое вообще могло существовать.

Первые продажи

Помпео взялся за дело. Он начал с того, что определил вещи, которые можно было продать без опасности: незначительные рисунки, что Леонардо создал в юности, несколько подготовительных этюдов к так и не осуществлённым творениям, копии, что сам Франческо

делал под руководством учителя и что можно было выдать за оригиналы.

Для каждой продажи он создавал правдоподобную историю происхождения. Например, для рисунка встающего на дыбы коня он утверждал, будто Леонардо подарил его миланскому дворянину в 1505 году, что дворянин завещал его сыну, а Франческо выкупил его у этого сына. Он даже изготавливал поддельные письма, подтверждающие эту вымышленную сделку.

Первая крупная продажа состоялась в марте 1520 года. Покупателем был кардинал Бернардо Довици да Биббиена, большой любитель искусства и опытный коллекционер. Помпео предложил ему серию из двенадцати ботанических рисунков — подлинных творений Леонардо, но второстепенных — за сумму в триста золотых дукатов.

Кардинал долго рассматривал рисунки, сравнивая их с другими творениями Леонардо, что уже владел. Убедившись в их подлинности, он согласился на цену. Франческо, присутствовавший при сделке, почувствовал огромное облегчение. Первая продажа прошла без осложнений. Система работала.

В последующие два года они устроили около десятка подобных продаж. Каждая сделка тщательно готовилась, покупатель выбирался с осторожностью: коллекционеры, известные своей сдержанностью, дворяне, более заинтересованные в престиже обладания творением Леонардо, нежели в юридических тонкостях происхождения, торговцы искусством, предпочитавшие не слишком расспрашивать о происхождении вещей, что им предлагали по хорошей цене.

Франческо использовал деньги, чтобы вновь обустроиться в Милане. Сперва он снял более просторную квартиру в квартале Брера, затем, в 1522 году, купил небольшой

палаццо в квартале Порта-Верчеллина, близ церкви Санта-Мария-делле-Грацие, где Леонардо десятилетиями ранее написал свою знаменитую Тайную вечерю.

Этот палаццо, пусть скромный по сравнению с резиденциями великих миланских семей, отвечал его потребностям. Он насчитывал около десятка комнат, распределённых по трём этажам, конюшни, способные вместить четырёх лошадей, внутренний сад, украшенный фонтаном, и, прежде всего, просторные чердаки, где он устроил тайную мастерскую. Именно там он хранил свои самые драгоценные сокровища: Иоанна Крестителя, анатомические рукописи, трактаты о полёте.

Параллельно этим торговым сделкам он работал над укреплением своего общественного положения. Он культивировал отношения с влиятельными лицами Милана: испанским губернатором, архиепископом, командиром гарнизона, главами знатных миланских семей. Он щедро дарил этим особам малозначительные рисунки Леонардо, создавая обязанных ему людей, что будут ему благодарны в случае затруднений. Он участвовал в светских мероприятиях, приёмах, церковных церемониях. Он делал себя незаменимым как знаток искусства и древностей.

Эта стратегия налаживания связей была не менее важна, чем изготовление поддельных документов. В обществе, где личные отношения часто значили больше писаного закона, иметь могущественных друзей было лучшей защитой.

В 1523 году он сделал решающий шаг: попросил и получил должность советника при испанском губернаторе Милана, Альфонсо д'Авалосе. Эта должность была почётной — он должен был давать советы по художественным приобретениям губернатора и время от времени устраивать выставки в герцогском дворце. Но она

давала ему официальный статус, что защищал его от возможных обвинений в мошенничестве или укрывательстве краденого. Кто осмелился бы обвинить советника губернатора в продаже краденых творений?

Возвращение Салаи

В сентябре 1523 года Салаи вновь появился в Милане. Франческо, что не видел его со времени их разлуки в Лионе четыре года назад, был поражён его переменой. В сорок три года Салаи утратил всю свою андрогинную красоту. Лицо его обрюзгло от пьянства, глаза покраснели от недосыпа, одежда была неряшлива. Он казался постаревшим на двадцать лет.

— Франческо! — воскликнул он, входя в палаццо без приглашения. — Какая радость снова тебя видеть! Я узнал, что ты хорошо здесь устроился. Прекрасный палаццо, почтенное положение. Тебе удалось!

Франческо был раздосадован этим вторжением. Он усадил Салаи в гостиной и предложил ему вина.

— Что ты делаешь в Милане? Где ты был все эти четыре года?

— Всюду понемногу, — уклончиво ответил Салаи. — Сперва во Франции, я пытался продать несколько творений. Затем в Венеции, во Флоренции, в Риме. Я пытался утвердиться как независимый живописец, но безуспешно. Заказы редки, когда у тебя нет славы учителя. Франческо наблюдал за бывшим другом со смесью жалости и недоверия. Он догадывался, что Салаи явился кланчить денег.

— А теперь какие у тебя планы?

— Я подумывал обосноваться в Милане. Возобновить прежние связи. Может быть, мы с тобой могли бы снова сотрудничать? Как во времена учителя?

— Сотрудничать как?

— Ну, у тебя есть наследие. У меня есть связи. Вместе мы могли бы продать важные вещи. Иоанна Крестителя, к примеру. Или Леду. Эти творения стоят целое состояние! Дрожь пробежала по Франческо. Салаи полагал, что он всё ещё владеет всеми творениями, изъятыми в 1519 году. Он не знал, что часть уже была продана через посредничество Помпео.

— Леды у меня больше нет, — солгал он. — Я подарил её венецианскому коллекционеру в обмен на услугу.

— Подарил? — возмутился Салаи. — Ты подарил творение стоимостью в несколько сотен дукатов?

— Это было необходимо, чтобы получить определённую защиту. Ты бы понял, если бы знал подробности.

Салаи посмотрел на него с подозрением.

— Ты что-то от меня скрываешь. Ты затеял дело без меня, не так ли? Ты нашёл способ продавать творения и держишь меня в стороне!

— Мы расстались четыре года назад, — устало возразил Франческо. — Всё это время ты не подавал признаков жизни. Ты не прислал мне ни письма, ни весточки. Чего ты ожидал? Что я буду сидеть сложа руки, ожидая твоего возвращения?

— Мы были сообщниками! — закричал Салаи. — Мы вместе украли эти творения! У тебя не было права продавать их без меня!

Это неосторожное заявление, произнесённое вслух в гостиной, где его мог услышать кто угодно, привело Франческо в ужас. Он бросился к двери проверить, не подслушивает ли кто-нибудь, затем вернулся к Салаи в гневе:

— Замолчи, глупец! Ты хочешь, чтобы нас обоих арестовали? Никогда больше не произноси этих слов, слышишь? Никогда больше!

Салаи, обескураженный горячностью Франческо, умолк. Но взгляд его оставался полон обиды.

— Мне нужны деньги. У меня долги. Много долгов. Если я не расплачусь быстро, у меня будут большие неприятности.

Франческо вздохнул. Он достал кошелек с пятьюдесятью дукатами и протянул его Салаи.

— Вот, хватит продержаться несколько месяцев. Но это в последний раз, когда я даю тебе деньги без ничего взамен. Если хочешь больше, придётся работать. Я могу найти тебе несколько заказов на копии, если тебе это интересно.

Салаи жадно схватил кошелек, взвешивая его в руке, чтобы оценить содержимое. Разочарованный суммой, он сунул его за пояс.

— Пятьдесят дукатов? Это всё? Ты живёшь в палатце, у тебя есть слуги, а даёшь мне жалкие пятьдесят дукатов?

— Это больше, чем ты заслуживаешь. И если ты продолжишь пить и играть, как сейчас, эти пятьдесят дукатов не продержатся и месяца.

На эти резкие слова Салаи покинул палатцу, хлопнув дверью. Франческо остался задумчив. Возвращение Салаи представляло угрозу. Этот человек был непредсказуем, пьющ, обременён долгами. В минуту слабости или ярости он мог раскрыть их тайну. Нужно было пристально за ним следить.

Он рассказал об этом Помпео за ужином.

— Твой бывший сообщник опасен. Нужно либо купить его молчание, либо... устранить его.

— Устранить? — потрясённо повторил Франческо. — Ты говоришь о том, чтобы его убить?

— Я говорю о нейтрализации угрозы. Но есть и другие способы, помимо убийства. Можно, например, добиться его заключения за долги. Или изгнания из Милана властями. Или найти ему место где-нибудь далеко отсюда, где он не сможет больше нам вредить.

Франческо обдумал эти предложения. Мысль о том, чтобы посадить Салаи в тюрьму, была ему неприятна, но Помпео был прав: *«маленький бес»* представлял угрозу, с которой нужно было что-то делать.

Он выбрал промежуточное решение. Он использовал свои связи с губернатором, чтобы Салаи назначили придворным живописцем небольшого провинциального городка, Крема, в пятидесяти километрах от Милана. Место было скромно оплачиваемым, но постоянным, и удаляло Салаи от ломбардской столицы, где он мог бы причинить неприятности.

Салаи, у которого не было особого выбора, принял это назначение. Но Франческо знал, что это лишь отсрочка. Рано или поздно он вернётся.

Падение Салаи

Три месяца спустя, в декабре 1523 года, Салаи вновь появился в палаццо. Его упадок был очевиден. Лицо его было не просто обрюзгшим от пьянства, но истощённым скрытой болезнью. Руки его непрерывно дрожали, голос стал хриплым, и он кашлял с тревожащей регулярностью. Франческо провёл его тайком через служебную дверь, чтобы слуги его не увидели. Он отвёл его в свой кабинет.

— Салаи, ты не можешь так продолжать. Ты себя губишь.

— Я себя гублю? — повторил он с горьким смехом, перешедшим в приступ кашля. — Это наша тайна меня

губит! Каждый день я живу в страхе. Страхе, что раскроют то, что мы сделали. Страхе, что меня будут пытаться, чтобы вырвать признание. Страхе кончить повешенным на площади!

— Никто не станет тебя пытаться. Мы в безопасности.

— В безопасности? — закричал Салаи. — Ты, может быть! Ты, с твоим прекрасным палаццо. А я? Что я получил от всего этого? Бедность, одиночество, стыд!

— Мне нужны деньги. Много денег. У меня долги... значительные долги. Если я не заплачу, меня убьют.

— Кто тебя убьёт?

— Люди... опасные люди. Ростовщики. Я занимал, чтобы играть, и проигрался. Теперь они хотят получить назад с грабительскими процентами.

Франческо быстро прикинул в уме. Это был третий раз, когда он оплачивал долги Салаи. Каждый раз Салаи обещал, что это последний раз, что он изменится, что перестанет пить и играть. И каждый раз, несколько месяцев спустя, он возвращался с новыми долгами.

— Сколько ты должен на сей раз?

— Сто дукатов, — пробормотал Салаи, не смея на него взглянуть.

— Сто дукатов! — воскликнул Франческо. — Это целое состояние! Как ты умудрился накопить такой долг?

— Я думал, что смогу выиграть... я думал, что удача переменится...

Франческо поднялся и подошёл к окну, повернувшись спиной к Салаи. Он напряжённо размышлял. Сто дукатов — это были большие деньги. Но это была также цена молчания. Если он откажет, отчаявшийся Салаи мог сделать что угодно. В том числе раскрыть их тайну властям в надежде получить снисхождение в обмен на признание.

Франческо обернулся.

— Я оплачу твои долги. В последний раз. Но при одном условии.

— При каком? — спросил Салаи с внезапной надеждой.

— Чтобы ты покинул Милан. Навсегда. Я нашёл тебе работу, но ты бросил её со дня на день. Теперь я куплю тебе маленький дом в отдалённой деревне, далеко отсюда. Ты будешь жить там спокойно на скромную, но достаточную для твоих нужд ренту. Но ты никогда больше не вернёшься в Милан. Ты больше не будешь со мной связываться. Наша история окончена.

Салаи открыл рот, чтобы возразить, затем закрыл его. Он понимал, что это лучшее предложение, какое он мог получить. И, быть может, Франческо был прав. Быть может, удаление от Милана, от его соблазнов, от его воспоминаний позволило бы ему начать заново.

— Хорошо. Я уеду. Но... дом, он будет на моё имя? Я буду владельцем?

— Он будет на твоё имя. Я оформлю документы о собственности у нотариуса. Ты сможешь жить там до самой смерти, а потом сможешь завещать его кому пожелаешь.

Франческо сдержал слово. Он оплатил долги Салаи миланским ростовщикам. Он купил небольшой дом в деревне Баджо, в десятке километров от Милана. Он установил ежегодную ренту в двадцать четыре дуката, что выплачивалась бы Салаи каждый квартал через посредство нотариуса.

Франческо думал, что больше никогда его не увидит.

Смерть Салаи

Шесть месяцев спустя, в июне 1524 года, Франческо получил неожиданное послание. Салаи просил срочной встречи. Послание, написанное дрожащей рукой, давало понять, что это вопрос жизни и смерти.

Франческо колебался. У него не было ни малейшего желания вновь видеть Салаи, вновь погружаться в это прошлое, которое он старался забыть. Но любопытство взяло верх.

Он отправил ответное послание, назначив встречу в неприметной таверне за городскими стенами, вдали от нескромных взглядов.

Когда Салаи явился, Франческо был потрясён. Человек, стоявший перед ним, был неузнаваем. За столь короткое время он превратился в живой призрак: сутулый, истощённый, с восковым цветом лица, глазами, ввалившимися в глазницы. Он непрестанно каплял — глубоким, влажным кашлем, тяжёлым для слуха, порой отхаркивая кровь в уже испачканный платок.

— Салаи... — прошептал Франческо. — Боже мой, что с тобой случилось?

— Со мной случилась жизнь. Жизнь, которую мы выбрали той майской ночью 1519 года.

Они устроились в тёмном углу таверны. Франческо заказал вина и еды, но Салаи почти ни к чему не притронулся. Он жадно пил вино, но отказывался есть.

— Я умираю. Врачи говорят, что у меня болезнь лёгких. Мне осталось несколько месяцев, быть может, год от силы. Франческо не знал, что ответить. Что сказать человеку, что объявляет вам о своей близкой смерти?

— Мне жаль.

— Не жалею меня. Я прожил ту жизнь, что выбрал. Я пил, я играл, я любил кого хотел. У меня нет сожалений... вернее, есть одно сожаление.

— Какое?

— О той ночи. О краже. О лжи. Обо всём этом.

Салаи сделал долгий глоток вина, прежде чем продолжить:

— Годами я убеждал себя, что мы поступили правильно. Что мы спасли наследие учителя. Что наше злодеяние было оправдано высшей целью. Но теперь, когда смерть приближается, теперь, когда мне предстоит предстать перед Божьим судом, я спрашиваю себя, не украли ли мы просто ради собственного обогащения.

— Мы украли не ради обогащения. Мы спасли творения, что были бы утрачены!

— Тогда почему ты продал столько вещей? Почему живёшь в роскошном палаццо? Почему у тебя завидное общественное положение? Всё это ты получил благодаря краже.

Франческо не мог отрицать это обвинение. Это была правда. Он извлёк материальную выгоду из кражи. Но он также сохранил бесценные сокровища. Обе истины сосуществовали.

— Чего ты от меня хочешь, Салаи? Чтобы я публично покался? Чтобы всё вернул? Для этого уже слишком поздно.

— Я ничего от тебя не хочу. Я просто хотел увидеть тебя ещё раз. Посмотреть тебе в глаза.

Он долго кашлял.

— Я хотел также тебя предупредить. Когда я умру, к тебе, вероятно, придёт священник. Я намерен исповедаться перед смертью. Я расскажу всё священнику. Кражу, поддельное завещание, всё.

— Ты меня выдашь?

— Нет, тайна исповеди абсолютна. Священник ничего не сможет раскрыть. Но я хотел, чтобы ты знал, что кто-то ещё узнает правду. Что наша тайна не умрёт полностью со мной.

Франческо не знал, должен ли он чувствовать облегчение или тревогу. Тайна исповеди была абсолютной в теории. Но на практике священники были людьми, со своими слабостями и искушениями. Могла ли столь взрывоопасная тайна остаться запертой в молчании исповедальни?

— Салаи, не делай этого. Храни тайну до конца. Ради учителя. Ради его наследия.

— Ради учителя? Учитель мёртв. Ему теперь совершенно безразлична наша ложь. Нет, если я исповедуюсь, это ради моей собственной души, а не ради учителя.

Он допил свой бокал вина и с трудом поднялся.

— Прощай, Франческо. Мы больше не увидимся в этой жизни. Надеюсь, что в иной мы будем прощены за то, что сделали.

Франческо смотрел, как он, шатаясь, уходит в миланскую ночь. Это была их последняя встреча.

Три недели спустя Франческо узнал, что Салаи умер при подозрительных обстоятельствах. Его тело нашли пронзённым арбалетным болтом. Слух гласил, что он стал жертвой стычки после ночи пьянства.

Франческо не пошёл на похороны. Он послал венок цветов и заказал мессу за упокой души покойного, но отказался, чтобы его видели скорбящим по Салаи. Слишком много вопросов было бы задано. Слишком много связей установлено.

Помпео, что незаметно присутствовал на погребении, пришёл с докладом.

— Было человек десять. Деревенские крестьяне, старуха, что за ним ухаживала, и кюре. Никого важного. Никого, кто тебя знает.

— Кюре... это он его исповедовал?

— Без сомнения. Но тайна исповеди священна.

— Знаю. Но мне интересно, что именно он ему сказал. Назвал ли он моё имя. Упомянул ли подробности, что позволили бы меня найти.

Помпео положил руку на плечо своего друга.

— Даже если он всё рассказал, священник ничего не сможет с этим сделать. Он связан своей клятвой. Кюре, вероятно, простой деревенский человек, что ничего не понимает в миланских художественных интригах.

Франческо хотел ему верить. Но неделями он жил в тревоге, что какой-нибудь духовник постучится в его дверь для допроса. Этого так и не случилось.

Со смертью Салаи Франческо остался единственным хранителем изначальной тайны. Помпео, разумеется, был в неё посвящён, но не участвовал в самой краже. Он был соучастником после факта, а не действующим лицом.

Это одиночество тяжко давило на него. Ему было теперь тридцать четыре года. Половина его жизни осталась позади. Он выстроил внушительное общественное здание, но здание это покоилось на лживом основании.

Изготовление завещания

Годы 1524 и 1525 были годами упрочения. Франческо совершенствовал свою двойную жизнь: почтенный художник днём, осторожный фальсификатор ночью. Он продавал второстепенные вещи, дабы финансировать свой образ жизни, ревниво сохраняя главные вещи.

В этот период он начал изготавливать поддельное завещание, что позже станет главным козырем его защиты от обвинений в краже. Эта работа требовала исключительного терпения и мастерства.

Он сохранил несколько подлинных писем Леонардо, написанных за годы их совместной жизни. Он тщательно изучил почерк учителя: форму букв, нажим пера, характерный наклон, любимые сокращения. Он провёл недели, упражняясь, исписав десятки листов неудачными попытками, пока не научился воспроизводить почерк Леонардо с поразительной точностью.

Завещание было написано на старом пергамене, купленном у специализированного торговца. Он искусственно состарил чернила, добавив химические соединения, ускорявшие их окисление. Результатом был документ, что казался написанным в 1519 году и хранившимся шесть лет в обычных условиях.

Содержание было тщательно выверено. Он навёл справки о юридических формулах, применяемых во французских завещаниях. Он тайком проконсультировался с приятелем-нотариусом под предлогом желания составить собственное завещание. Он изучил другие завещания итальянских художников, умерших во Франции.

Результатом стал документ, что звучал правдоподобно. Леонардо завещал в нём Франческо основную часть своих рукописей и некоторые определённые творения. Салаи наследовал, в частности, половину сада. Сводным братьям учителя в Тоскане он завещал денежную сумму и кое-какую мебель. Слугам — скромные подарки. Всё было правдоподобно, согласовано, убедительно.

Он также изготовил знаменитое письмо к братьям Леонардо, датированное 1 июня 1519 года, в котором упоминались *«грамоты от короля христианнейшего»*, позволявшие учителю завещать. Это письмо было

краеугольным камнем всей конструкции: оно объясняло, как Леонардо, будучи чужеземцем, смог законно передать своё имущество.

Самым деликатным было создать иллюзию, будто эти документы существовали всегда. Он не мог внезапно предъявить их в 1525 году, не вызвав вопроса, почему он не показал их раньше. Ему нужно было постепенно установить их существование.

Он начал время от времени упоминать в разговорах с торговцами искусством или коллекционерами, что учитель составил завещание. Он давал понять, что владеет копией, но предпочитает не разглашать её публично, дабы избежать семейных распрей. Так, месяц за месяцем, он создавал слух о существовании завещания, хотя мало кто его видел.

Эта стратегия оказалась выигрышной. К 1525 году, когда ему предстояло начать оправдывать владение творениями перед всё более настойчивыми вопросами, существование завещания уже будет принято многими как установленный факт.

Поездка в Амбуаз

Но Франческо знал, что одного слуха будет недостаточно. Чтобы его обман выдержал серьёзную проверку, ему требовалась официальная гарантия, зацепка во французских нотариальных архивах. Весной 1525 года он предпринял опасное путешествие: вернуться в Амбуаз.

Путь из Милана занял три недели. Франческо путешествовал налегке, взяв лишь самое необходимое, и, тщательно спрятанное в кожаной сумке, подбитой шёлком, — поддельное завещание, что он потратил месяцы на совершенствование. Каждый этап пути оживлял его воспоминания: Лион, где он расстался с Салаи шесть

лет назад, дороги Франции, что он прошёл рядом с Леонардо, и наконец Амбуаз, тот город, из которого он поспешно бежал после смерти учителя.

Город мало изменился. Королевский замок по-прежнему господствовал над Луарой своей внушительной массой. Кло-Люсе, усадьба, где Леонардо провёл свои последние годы, теперь была занята каким-то придворным. Франческо тщательно избегал проходить мимо, опасаясь, что вид этих мест пробудит опасные чувства.

Он направился в нотариальную контору мэтра Гийома Боро, в доме фахверковой постройки, типичной для этих мест. Нотариус был человеком лет пятидесяти, со строгим лицом. Его контора, тёмная и заваленная реестрами, пахла старым пергаменом и чернилами.

Франческо подготовил свой подход. Он представился бывшим учеником Леонардо, приехавшим уладить последние формальности касательно наследства учителя. Он объяснил, что во время смерти Леонардо, в суматохе траура, некоторые документы не были должным образом зарегистрированы. Ныне он желал исправить это упущение.

Боро слушал его с настороженным вниманием. Когда Франческо достал завещание из сумки, нотариус взял его осторожно, долго его изучал. Его опытные глаза пробежали пергамен, останавливаясь на формулировках, подписях.

— Этот документ датирован 23 апреля 1519 года, — заметил Боро нейтральным голосом. — Сейчас май 1525 года. Прошло шесть лет. Почему регистрировать его именно теперь?

— Сложные семейные обстоятельства, мессир, — ответил Франческо с уверенностью, что он репетировал сотню раз. — Итальянские наследники учителя оспаривают

некоторые распоряжения. Мне нужен официальный след этого завещания, дабы отстоять свои права.

Боро положил документ на стол и сложил руки перед собой.

— Мессир Мельци, прежде чем продолжить, я должен задать вам вопрос, что кажется мне существенным. Был ли ваш учитель Леонардо да Винчи натурализованным французом?

— Учитель получил грамоты о натурализации от короля Франциска, мессир. Это, впрочем, упомянуто в письме, что я отправил братьям Леонардо вскоре после его смерти.

Боро медленно покачал головой.

— Именно в этом и заключается проблема. Видите ли, в мае 1519 года, тотчас после кончины мессира Леонардо, ко мне обратились служащие королевского Казначейства. Мэтр Этьен Делуан и мессир Гийом де Монкорне провели полную опись имущества покойного в Кло-Люсе. И знаете ли вы, на каком основании они действовали?

Франческо не ответил, догадываясь, что последует дальше.

— На основании права обена, — продолжал Боро твёрдым голосом. — Право обена применяется к чужеземцам, скончавшимся во Франции без получения грамот о натурализации. Всё их имущество автоматически переходит короне. Если бы мессир Леонардо был натурализован французом, это право не применялось бы. У королевских служащих не было бы никакого основания проводить эту опись. А они его провели. Они изъяли главные творения — Джоконду, Святую Анну, — что ныне входят в состав королевской Казны.

Последовавшее молчание было тягостным. Франческо отчаянно искал ответ, выход из положения.

— Быть может, произошла административная ошибка. Грамоты о натурализации могли быть дарованы, но

неверно зарегистрированы. Или, быть может, служащим Казначейства о них было неизвестно...

— Служащие Казначейства — профессионалы, — оборвал его Боро. — Они не выезжают применять право обена, не проверив предварительно отсутствие натурализации. И я сам, по их просьбе, изучал реестры королевской канцелярии. Никакой грамоты о натурализации на имя Леонардо да Винчи там не значится. Я сохранил об этом запись в собственных архивах.

Франческо осознал, что отрицать очевидное бесполезно.

— Мессир Боро, — сказал он более тихим голосом, — буду с вами откровенен. Вы правы. Грамоты о натурализации, вероятно, никогда не существовали. Или, если они и были обещаны, никогда не были формально дарованы. Учитель умер слишком быстро. Но означает ли это, что его завещание должно быть недействительным? Что его желание завещать мне свои труды, плод тридцати лет исследований, должно быть проигнорировано из-за формальности?

— Это не простая формальность. Это закон королевства.

— Несправедливый закон! — вспыхнул Франческо. — Учитель служил королю Франциску с преданностью три года. Он подарил ему свои прекраснейшие творения. Он заслуживал натурализации. Если она не состоялась, то по небрежению, а не по его вине.

Боро долго его разглядывал, лицо его оставалось непроницаемым.

— Я понимаю ваши чувства. Но нотариус не может пренебрегать законом. Это завещание, что вы мне предъявляете, юридически проблематично. Без грамот о натурализации мессир Леонардо не мог законно завещать во Франции. Всё, чем он владел, должно было перейти короне по праву обена. Это завещание, пусть и

отражающее его подлинные намерения, не имеет никакой законной силы.

— Тогда что вы предлагаете? Чтобы я вернул всё королевским служащим? Уже слишком поздно. Прошло шесть лет. Творения, которыми я владею, я спас от рассеяния и уничтожения. Без меня их продали бы торговцам или потеряли. Я сохранил гений учителя. Разве это преступление?

Боро поднялся.

— Вы ставите меня в затруднительное положение, мессир Мельци. С одной стороны, я понимаю ваши побуждения. С другой — я государственный чиновник. Я не могу удостоверить документ, что, как мне известно, юридически недействителен.

— Я не прошу вас его удостоверить, — быстро ответил Франческо. — Я прошу лишь хранить его в ваших архивах. Как хранителя, а не как удостоверяющее лицо.

Боро обернулся.

— Хранение под печатью?

— Именно. Вы храните документ как есть, не высказываясь о его действительности. Если кто-нибудь оспорит моё наследство, я всегда смогу сказать, что завещание существует и хранится у амбуазского нотариуса. Это придаст видимость законности моему владению.

— Видимость законности, — с оттенком иронии повторил Боро. — Вы просите меня участвовать в обмане.

— Я прошу вас сохранить память о великом человеке. Законы несовершенны, мессир Боро. Порой истинная справедливость требует от них отступить.

Нотариус вернулся к своему столу и сел, черты его лица были отмечены раздумьем.

— А если бы я согласился на это... хранение под печатью, что бы я от этого получил? Или, вернее, чем бы я рисковал? Ибо я рискую своей репутацией, быть может, своей должностью, становясь хранителем документа, чьи юридические изъяны мне известны.

Франческо предвидел это возражение.

— Церковь Сен-Дени в Амбуазе, полагаю, нуждается в неотложной реставрации. Пятьдесят золотых дукатов могли бы значительно помочь этим работам. Благочестивое пожертвование в память о моём покойном учителе, разумеется. Ваше имя фигурировало бы среди благотворителей.

Лицо Боро не выдавало никаких чувств, но Франческо заметил, как его пальцы слегка сжались на подлокотнике кресла. Пятьдесят дукатов представляли собой целое состояние для маленькой провинциальной церкви.

— Пятьдесят дукатов, — пробормотал нотариус. — Это щедро.

— А для вас лично, — добавил Франческо, доставая второй кошелек, — ещё двадцать дукатов. За время, что вы посвятите хранению этого документа, за особые предосторожности, что вам придётся принять.

Боро взглянул на оба кошелька, лежавшие на его столе. Нравственный конфликт теперь ясно читался на его лице. Это был честный человек, привыкший скрупулёзно соблюдать закон. Но предложение было значительным. И в конце концов, что предосудительного он делал? Он не удостоверял подлинность завещания. Он не придавал ему юридической силы. Он просто хранил его в своих архивах, как хранил сотни других документов.

Тишина затянулась. Франческо затаил дыхание.

— Хорошо, — наконец сказал Боро усталым голосом. — Я сохраню это завещание в своих архивах, под печатью. Я

предоставляю вам свидетельство о хранении, удостоверяющее, что вы вверили мне этот документ на хранение. Но я должен быть предельно ясен в одном: это свидетельство никоим образом не удостоверяет подлинность завещания и его соответствие французскому праву. Оно лишь установит, что вы передали мне документ, что выдаёте за завещание Леонардо да Винчи.

— Мне этого вполне достаточно, мессир.

— И я добавлю заметку в мои личные реестры, — продолжал Боро более твёрдым тоном, — указывающую точные обстоятельства этого хранения и мои сомнения относительно юридической действительности документа. Эта заметка останется конфиденциальной, передаваемой лишь моим преемникам в нотариальной должности. Это моя личная гарантия, моя защита, если это дело когда-либо будет рассмотрено.

Франческо заколебался. Эта заметка могла оказаться опасной. Но отказ рисковал сорвать всю сделку.

— Я согласен, — сказал он. — Ваши сомнения останутся в ваших личных архивах. А само завещание?

— Оно будет храниться в опечатанном сундуке, доступном лишь по предъявлении письменного разрешения от вас или ваших законных наследников. Никто другой не сможет с ним ознакомиться.

— А свидетельство о хранении?

— Я составляю его немедленно.

Боро достал чистый лист пергамента и начал писать своим красивым нотариальным почерком. Франческо смотрел, как перо царапает бумагу, выводя слова, что скрепляли их преступный сговор.

«Я, нижеподписавшийся, Гийом Боро, королевский нотариус в Амбуазе, удостоверяю получение от мессира Франческо Мельци, миланского дворянина, для хранения в моих архивах под печатью,

документа, представленного как завещание покойного мессира Леонардо да Винчи, тосканского художника, скончавшегося в Амбуазе 2 мая 1519 года, каковой документ датирован 23 апреля 1519 года. Свидетельство составлено в Амбуазе, 15 мая 1525 года, по просьбе мессира Франческо Мельци».

Боро приложил свою печать внизу документа и протянул его Франческо, что взял его с огромным облегчением.

— Вот и всё готово. Пятьдесят дукатов для Сен-Дени?

Франческо положил первый кошелёк на стол.

— Что до другой суммы...

Он незаметно подвинул второй кошелёк к нотариусу, который быстрым движением заставил его исчезнуть в ящичке стола.

Боро поднялся, давая понять, что встреча окончена.

— Мессир Мельци, надеюсь, мне не придётся сожалеть о том, что я только что сделал. Я дал вам то, что вы просили, но знайте: я действовал против своей совести. Если это дело причинит кому-либо вред, я буду нести за это нравственную ответственность.

— Никто не пострадает, мессир Боро, — заверил Франческо. — Напротив. Творения учителя будут сохранены, изучены, переданы потомству. Разве не это самое важное?

— Быть может. Или, быть может, я просто позволил себя купить. Время покажет.

Франческо покинул нотариальную контору со свидетельством, тщательно сложенным в сумке. Выйдя на солнечную амбуазскую улицу, он почувствовал сложную смесь чувств: облегчение оттого, что преуспел, чувство вины оттого, что подкупил честного человека, и удовлетворение оттого, что закрепил свою ложь в официальных архивах.

Он не знал, что Боро, оставшись один в своей конторе, тотчас записывал в свой личный реестр подробную заметку: *«Сего дня, 15 мая 1525 года, получил от мессира Франческо Мельци документ, представленный как завещание Леонардо да Винчи. По рассмотрении, документ этот обнаруживает тяжкие юридические нарушения. Во-первых, поскольку мессир Леонардо никогда не получал грамот о натурализации, право обена применилось к его наследству в 1519 году, делая всякое завещание недействительным и ничтожным. Во-вторых, формулировки документа не соответствуют нотариальным обычаям. В-третьих, мессир Мельци не смог предъявить ни одного свидетеля составления этого завещания. Тем не менее я согласился хранить сей документ под печатью, никоим образом его не удостоверяя. Наставление моим преемникам: никогда не показывать сей документ без письменного разрешения наследников Мельци. Хранить сию заметку и передавать её лишь следующему нотариусу, занимающему должность».*

Эта заметка останется скрытой на три века, передаваясь от отца к сыну в роду Боро, становясь тайным звеном в цепи невольного соучастия, что защитит мистификацию Франческо до конца XIX века, когда угасание рода Боро наконец позволит правде начать выходить наружу.

Франческо, не подозревая о том, с какой точностью Боро задокументировал свои сомнения, покинул Амбуаз на следующее утро. Обратный путь в Милан оказался менее тревожным, чем дорога туда. Он преуспел сверх всех ожиданий. Поддельное завещание отныне имело официальное существование, зацепку во французских нотариальных архивах. Более того, свидетельство о хранении несло дату, что давала ему видимую шестилетнюю обратную силу — никто не смог бы доказать, что документ не был передан на хранение ещё в 1519 году, хотя свидетельство было выдано в 1525-м.

Мистификация была отныне завершена, защищённая молчанием нотариуса, чью встревоженную совесть предстояло разделить всему его роду на протяжении веков.

Дело Тривульцио

Именно в октябре 1525 года угроза обрела зримую форму в лице монсеньора Джанджакомо Тривульцио, честолюбивого прелата и любителя искусства.

Франческо слышал о Тривульцио задолго до их первой встречи. Этот человек был неизбежной фигурой миланской интеллектуальной жизни: духовником губернатора д'Авалоса, членом нескольких учёных академий, коллекционером, известным своим взыскательным вкусом и энциклопедической образованностью. О нём говорили, что он обладает поразительной памятью, способной цитировать длинные отрывки из Плиния Старшего или блаженного Августина, не сбившись ни на одном слове.

Что делало Тривульцио особенно грозным, так это его одержимость истиной и подлинностью. Он построил свою репутацию, разоблачая несколько подделок — мнимую рукопись Цицерона, оказавшуюся подделкой XIV века, *«античную»* статую, которой на деле было всего двадцать лет. В образованных кругах Милана его прозвали *«ищейкой»* за способность чують обман.

Впервые Франческо столкнулся с Тривульцио на приёме в герцогском дворце, в сентябре 1525 года. Прелату было около сорока лет, он был высок и худощав, с угловатым лицом, придававшим ему вечно скептический вид. Его серые глаза, острые и подвижные, казалось, всё наблюдали, всё каталогизировали, всё анализировали.

На этом приёме Тривульцио прохаживался среди гостей, останавливаясь перед каждым выставленным произведением искусства, дабы тщательно его

рассмотреть. Франческо наблюдал за ним издали, надеясь избежать всякого взаимодействия. Но судьба распорядилась иначе.

— Мессир Мельци, не так ли? — окликнул его Тривульцио, приблизившись с бокалом вина в руке. — Бывший ученик великого Леонардо?

Франческо обернулся с учтивой улыбкой, которую надеялся сделать естественной.

— Это я, монсеньор. Вы меня знаете?

— Лишь по слухам. Но какая слава! Говорят, вы владеете прекраснейшим собранием творений Леонардо за пределами королевских коллекций. Что вы стали неоспоримым знатоком по учителю. Что величайшие коллекционеры Европы советуются с вами.

В тоне Тривульцио было нечто — быть может, лёгкая ирония, — что заставило Франческо насторожиться.

— Слухи всегда преувеличивают, монсеньор. Я имел честь служить учителю много лет, это правда. Но чтобы утверждать, будто я знаток...

— Ложная скромность, — оборвал его Тривульцио. — Я видел некоторые из вещей, что вы продали. Они подлинны, без всякого сомнения. Кардинал Довици показал мне свои ботанические рисунки. Диво. Руку Леонардо не спутаешь ни с чьей другой.

— Я рад, что монсеньор доволен своим приобретением.

— Доволен? Он в восторге. Хотя иногда и задавался вопросом о... как бы сказать... о точном происхождении этих рисунков.

Сердце Франческо забилось быстрее, но он сохранил невозмутимое выражение лица.

— Происхождение просто, монсеньор. Это вещи, что учитель завещал мне по своему завещанию. Всё безупречно задокументировано.

— Ах да, завещание. Я слышал об этом завещании. Любопытно, что никто, похоже, его не видел. О нём говорят, на него ссылаются, но сам документ остаётся странно... неуловимым.

Франческо почувствовал, как пот выступает на лбу, несмотря на прохладу осеннего вечера.

— Завещание хранится во Франции, у нотариуса, что его зарегистрировал. Я, разумеется, владею заверенной копией, но оригинал остаётся в нотариальных архивах Амбуаза.

— Как удобно, — тихо заметил Тривульцио. — Важнейший документ, но, увы, недоступный для проверки, хранится в далёком королевстве.

— Монсеньор, если вы на что-то намекаете...

— Я ни на что не намекаю, мессир Мельци. Я просто задаюсь вопросами. Такова моя натура. Я человек любопытный. Слишком любопытный, как мне порой говорят.

Мимо прошёл слуга с подносом изысканных яств. Тривульцио рассеянно взял что-то с подноса, не сводя глаз с Франческо.

— Скажите мне, мессир, — продолжал прелат, — эта история с грамотами о натурализации, дарованными учителю королём Франциском... вы в ней уверены?

— Совершенно уверен. Это упомянуто в моей переписке с братьями Леонардо после его смерти.

— Интересно. Ибо, видите ли, у меня есть корреспондент в Париже, учёный собрат, что имеет доступ к королевским архивам. И он недавно писал мне, что ни одной грамоты

о натурализации на имя Леонардо да Винчи не значится в реестрах канцелярии.

Франческо почувствовал, как почва уходит из-под ног. Тривульцио провёл расследование. Он проверил через французские источники. Этот якобы случайный разговор был на самом деле тщательно подготовленным допросом.

— Архивы могут быть неполными, — ответил Франческо, стараясь сохранять спокойствие. — Документы теряются, особенно в военное время. Во Франции произошло столько потрясений за последние годы...

— Без сомнения, без сомнения, — согласился Тривульцио с кивком, не выражавшим никакой убеждённости. — Но всё же это тревожит. Грамоты о натурализации, дарованные королём, — важный документ. Должен же остаться какой-то след.

Группа гостей приблизилась, прервав их разговор. Франческо воспользовался этим отвлечением, чтобы улизнуть, сославшись на неотложную встречу. Но это было лишь отсрочкой. Тривульцио шёл по его следу.

В последующие дни Франческо узнал, что прелат расспрашивает о нём по всему Милану. Он допрашивал торговцев искусством, что служили посредниками в его продажах, коллекционеров, что покупали творения, нотариусов, что составляли договоры продажи.

— Он дотошен, — доложил Помпео на одной из их тайных встреч. — Он всё записывает, составляет списки, сопоставляет показания. Похоже, будто он строит обвинительное дело.

— Но на каком основании? — вспыхнул Франческо. — Какое преступление я совершил? Владение творениями моего учителя, что я законно унаследовал?

— Он подозревает, что твоё наследство не столь законно, как ты утверждаешь. И, честно говоря, он не ошибается.

Если он когда-нибудь заполучит конкретные доказательства...

— Доказательств нет! — оборвал Франческо. — Документы, что я изготовил, безупречны. Завещание неотличимо от подлинного. Переписка безукоризненна. Он ничего не может доказать.

— Проблема не только в физических документах. Дело в логике истории. Тривульцио — аналитический ум. Он ищет несоответствия, подробности, что не сходятся. А наша история, как бы хорошо она ни была выстроена, имеет свои слабости.

— Какие именно?

— Во-первых, отсутствие грамот о натурализации во французских архивах. Мы придумали эти грамоты, чтобы объяснить, как Леонардо мог завещать, но если их нет в официальных реестрах, наше объяснение рушится. Во-вторых, время. Почему ты ждал шесть лет, прежде чем зарегистрировать завещание во Франции? Это подозрительно. В-третьих, показания. Люди, что ты называешь свидетелями завещания или получателями даров от учителя... одни не помнят ясно, другие дают противоречивые версии.

— Это второстепенные подробности. Естественная забывчивость спустя годы.

— Для нас с тобой это второстепенные подробности. Для Тривульцио это трещины в мошеннической постройке. А у него есть ум и упорство, чтобы их использовать.

— Что ты предлагаешь? Чтобы я бежал из Милана? Чтобы отказался от всего, что построил?

— Нет. Я предлагаю подготовить надлежащую защиту. Укрепить слабые места нашей истории. И прежде всего найти способ обезвредить Тривульцио, прежде чем он станет по-настоящему опасен.

— Обезвредить как?

— Есть несколько вариантов. Мы могли бы дискредитировать его, посеяв сомнения насчёт его собственной коллекции — я слышал, что у него есть «фимская» статуэтка, что вполне может оказаться современной подделкой. Мы могли бы использовать твои связи с губернатором, чтобы лишить его полномочий на расследование. Или мы могли бы просто его купить — у каждого человека есть своя цена.

Франческо обернулся, потрясённый этим последним предложением.

— Ты говоришь о подкупе?

— Я называю это переговорами. Тривульцио коллекционер. Предложи ему несколько замечательных вещей, и он, быть может, станет менее... рьяным в своих расследованиях.

Эта мысль была неприятна Франческо, но он не мог отрицать её логики: у каждого человека была своя цена. Вопрос был в том, был ли Тривульцио человеком, чья цена поддавалась переговорам.

Неделю спустя Франческо получил официальное послание от Тривульцио, приглашавшее его явиться в епископскую резиденцию, дабы *«обсудить вопросы общего интереса касательно наследства покойного Леонардо да Винчи»*. Тон был учтив, но приглашение имело все признаки повестки.

Франческо явился в указанные день и час в сопровождении Помпео, которого представил как своего юридического советника. Их приняли в личном кабинете Тривульцио, суровом помещении со стенами, увешанными книгами, с большим распятием из тёмного дерева, господствовавшим над массивным столом.

Тривульцио встретил их с невозмутимой учтивостью.

— Мессир Мельци, мессир Бонини, благодарю вас за то, что пришли. Прошу, садитесь.

Они заняли неудобные кресла, что им указал прелат. Тривульцио сел за свой стол, сложив руки перед собой в позе, что напоминала судью, готового вынести приговор.

— Я перейду прямо к делу, — начал он. — Несколько недель я веду негласное расследование о происхождении вашего собрания творений Леонардо. Это расследование выявило несколько... несоответствий, что глубоко меня тревожат.

Франческо почувствовал, как сжалось горло, но постарался выглядеть спокойным.

— Несоответствий, монсеньор? Каких же?

Тривульцио открыл лежавший перед ним реестр и начал перечислять свои находки с точностью прокурора:

— Во-первых, пресловутые грамоты о натурализации. Их не существует ни в одном официальном французском реестре. Я проверил через три независимых источника. Во-вторых, само завещание. Никто, кроме вас, никогда его не видел. Вы утверждаете, что оно хранится у амбуазского нотариуса, но не можете предъявить никакого доказательства его регистрации. В-третьих, некоторые творения, что вы утверждаете, будто унаследовали, не значатся в описи имущества Леонардо, составленной королевскими служащими в мае 1519 года. В частности, Иоанн Креститель и Леда с лебедем, о которых известно, что они были в мастерской учителя незадолго до его смерти.

Он закрыл реестр и посмотрел Франческо прямо в глаза.

— Как вы объясните эти несоответствия, мессир Мельци?

Франческо глубоко вздохнул. Если он покажется слишком оправдывающимся, это подтвердит подозрения Тривульцио. Если он будет слишком заносчив, это

подтолкнёт того продолжить расследование. Нужно было найти верный тон: достаточно возмущённый, чтобы казаться искренне оскорблённым, но достаточно готовый сотрудничать, чтобы не выглядеть скрывающим что-либо.

— Монсеньор, — начал он спокойным голосом, — я понимаю вашу заботу об истине. Это похвальное качество для человека Церкви. Но позвольте мне ответить по пунктам на ваши... озабоченности.

Он загнул пальцы, подражая жесту Тривульцио:

— Во-первых, касательно грамот о натурализации. Возможно, они никогда не были формально зарегистрированы в больших реестрах канцелярии. Король Франциск порой даровал привилегии открытыми грамотами, что не проходили через обычные административные каналы. Учитель был близок к королю. Правдоподобно, что он получил устные заверения или частные документы, не значащиеся в официальных архивах.

— Устные заверения не составляют законной натурализации, — возразил Тривульцио.

— Без сомнения. Но в условиях того времени, при личных связях между Леонардо и королём, такие заверения могли считаться достаточными. Вспомните, что учитель был весьма стар и болен. Формальности, возможно, не были его первейшей заботой.

Тривульцио не выглядел убеждённым, но знаком показал Франческо продолжать.

— Во-вторых, касательно завещания. Оно существует. У меня есть свидетельство амбуазского нотариуса, подтверждающее, что оно хранится в его архивах под печатью. Если пожелаете, я могу показать вам это свидетельство.

— Свидетельство — не само завещание.

— Это верно. Но завещание содержит частные распоряжения, что я не желаю разглашать публично. Оно упоминает наследства для людей, что уже не в этом мире, деликатные семейные договорённости. Предъявить его публично создало бы больше проблем, чем решило.

— Удобно, — пробормотал Тривульцио.

Франческо проигнорировал это замечание и продолжил:

— В-третьих, касательно творений, что не значатся в королевской описи. Нужно понять обстоятельства. Опись была составлена быстро, в суматохе, что последовала за смертью учителя. Некоторые творения уже покинули мастерскую до его кончины. Иоанн Креститель, например, был доверен мне за несколько недель до смерти учителя, что желал, чтобы я продолжал над ним работать. Поэтому его не было в мастерской во время описи.

— У вас есть свидетели этой... заблаговременной передачи? — скептически спросил Тривульцио.

— Да. Мэтр Боннваль, аптекарь, что лечил учителя. Дама Маргарита де Роган, что часто посещала Кло-Люсе. Аббат Сен-Флорентен, что приходил исповедовать учителя. Все они могут засвидетельствовать, что некоторые творения уже находились в моём владении до официальной кончины.

Это была дерзкая ложь, но Франческо знал, что эти свидетели, даже если их допросят, дадут двусмысленные ответы, что можно истолковать в желаемом смысле. Аптекарь и аббат получили *«подарки»*, что сделало бы их неохотными противоречить Франческо. А дама Маргарита, что умерла двумя годами ранее, вообще уже не могла свидетельствовать.

Тривульцио делал записи, перо его скреблось по бумаге с сухим звуком, что отдавался в тишине кабинета.

— Этих свидетелей, — сказал он наконец, подняв глаза, — вы все с ними недавно связывались, не так ли? Дабы *«освежить их память»*?

Вопрос был ловушкой. Признать контакт означало бы признать попытку манипуляции показаниями. Отрицать это было бы легко проверяемой ложью.

Франческо выбрал третий путь:

— У меня была возможность переписываться с некоторыми из них, да. Спустя шесть лет естественно освежить воспоминания. Но я не подсказывал им ничего ложного. Я просто просил их вспомнить, что действительно произошло.

— И совершенно случайно их воспоминания в точности совпадают с вашей версией событий.

— Монсеньор, — сказал Помпео, молчавший до тех пор, — этот разговор принимает вид допроса. Мессир Мельци не обязан оправдываться перед вами. По какому праву вы ведёте это расследование?

— По праву моей совести, мессир Бонини. Когда я вижу несоответствия, что наводят на мысль о возможном обмане, я считаю своим нравственным долгом расследовать их. Если мессир Мельци нечего скрывать, ему нечего бояться моих вопросов.

— Он их не боится. Но он задаётся вопросом о ваших побуждениях. Движимы ли вы искренним стремлением к истине? Или есть другие причины, более... личные?

Лицо Тривульцио застыло.

— Что вы хотите сказать?

— Я слышал, что вы вожделеете некоторые вещи из коллекции. Что вы не раз пытались их приобрести, безуспешно. Не эта ли досада питает ваше... следовательское рвение?

Это был дерзкий ход. Тривульцио никогда не пытался что-либо купить у Франческо. Но обвинение, брошенное публично, могло посеять сомнения в его побуждениях.

Тривульцио резко поднялся, едва не опрокинув чернильницу.

— Как вы смеете! Я человек Церкви! Я не руководствуюсь алчностью!

— Разумеется, нет, монсеньор, — поспешил сказать Франческо. — Мой друг неверно выразился. Он не подвергал сомнению вашу честность. Но вы должны понять наше положение. Ваши вопросы, сколь бы законны они ни были, создают атмосферу подозрительности, что вредит нам. Коллекционеры будут колебаться покупать творения, если о их происхождении ходят слухи.

Тривульцио медленно сел обратно, явно во власти внутреннего противоречия. С одной стороны, чутьё подсказывало ему, что Франческо лжёт, что вся эта история о законном наследстве — мошенническая постройка. С другой — у него не было конкретных доказательств, лишь несоответствия и подозрения.

— Мессир Мельци, — наконец сказал он более спокойным голосом, — буду с вами откровенен. Я полагаю, что ваше наследство не столь ясно, как вы утверждаете. Я полагаю, что некоторые документы были... приукрашены. Быть может, даже сфабрикованы. Но признаю, что у меня нет формальных доказательств умышленного обмана.

Он сделал паузу, прежде чем продолжить:

— Поэтому я продолжу своё расследование. Я напишу своим знакомым во Франции, дабы получить больше сведений. Я допрошу свидетелей, что вы упомянули. И если я найду хоть малейшее веское доказательство

подделки, я без колебаний передам это дело подобающим властям. Я ясно выразился?

— Совершенно ясно, монсеньор, — ответил Франческо, поднимаясь. — И позвольте мне добавить, что желаю вам удачи в ваших поисках. Ибо вы не найдёте ничего, что могло бы поставить под сомнение законность моего наследства.

Они покинули епископскую резиденцию в напряжённом молчании. Оказавшись на улице, Помпео испустил долгий вздох.

— У нас проблема. Большая проблема.

— Знаю, — прошептал Франческо. — Тривульцио не отступится. Он как пёс с костью. Он будет копать, расспрашивать, проверять. И рано или поздно найдёт брешь.

— Тогда нам нужно действовать прежде, чем он найдёт эту брешь. Нам нужно либо убедить его прекратить расследование, либо достаточно его дискредитировать, чтобы никто не воспринял его обвинения всерьёз.

Франческо кивнул, но сердце его было тяжело. Этот визит означеновал начало периода сильной тревоги.

После ухода Тривульцио оба мужчины заперлись в кабинете палатцо.

— Он что-то знает, — заключил Франческо напряжённым голосом. — Или, по крайней мере, о чём-то догадывается. Это расследование, что он грозитя начать, может всё раскрыть.

Помпео долго размышлял, прежде чем ответить:

— Тривульцио грозен, потому что умен и упорен. Но у него тоже есть слабости. Нам нужно их найти и использовать.

— Какие слабости?

— Прежде всего, его гордыня. Это человек, что считает себя умнее других. Если мы дадим ему объяснение, что льстит его проницательности, ведя при этом по ложному следу, он может за ним последовать. Далее, его честолюбие. Тривульцио всего лишь духовник губернатора. Он мечтает о более важной должности, быть может, о епископстве. Если бы мы могли внушить губернатору, что Тривульцио превышает свои полномочия, ведя это расследование...

— Ты предлагаешь, чтобы его вышестоящие призвали к порядку?

— Именно. Губернатор д'Авалос тебя ценит. Ты его художественный советник. Если бы ты дал ему понять, что это расследование причиняет тебе неоправданный вред, что Тривульцио действует из личной зависти, а не из заботы о справедливости, д'Авалос мог бы вмешаться.

Франческо обдумал это предложение. Это было рискованно. Если губернатор встанет на сторону Тривульцио, положение ухудшится. Но бездействие тоже было опасно.

— Я подумаю над лучшим подходом. А пока нам нужно подготовить защиту. Достаточно ли убедительны документы, что я изготовил?

— Завещание и письмо братьям превосходны, — заверил Помпео. — Но нужно укрепить остальное. Показания, упомянутые Тривульцио, нужно закрепить. Аббат Сен-Флорентен, мэтр Боннваль, дама Маргарита де Роган... все должны получить обещанные творения и быть подготовлены свидетельствовать согласованно.

— Как их подготовить, не пробуждая их подозрений? Если я слишком объясню им, что говорить, они поймут, что я прошу их лгать.

— Не нужно им ничего объяснять. Отправь им творения с письмом, дающим понять, что они уже получили их от учителя, но забыли об этом. Перед лицом внезапно полученного произведения искусства большинство будут слишком счастливы, чтобы задавать вопросы.

Франческо последовал этому совету. Он тайно отправил гонцов во Францию с тщательно упакованными свёртками. Аббату Сен-Флорентен он направил три ботанических рисунка Леонардо с письмом:

«Преподобный отец, разбирая архивы моего покойного учителя, я обнаружил эти рисунки, что он намеревался подарить вам в знак признательности за ваше духовное утешение во время его последней болезни. Из уважения к его воле я передаю их вам сегодня, с некоторым опозданием на несколько лет, но с уверенностью, что они исходят от его руки и от его сердца».

Формулировка была искусной. Она давала понять, что учитель выразил намерение подарить эти рисунки, не уточняя, состоялось ли это дарение при его жизни или Франческо исполняет его сейчас. Аббат, получив эти драгоценные творения, мог со спокойной совестью свидетельствовать, что получил «во времена учителя» рисунки его руки, технически не солгав, но создав желаемое впечатление.

Он поступил так же с другими свидетелями. Каждому он послал несколько второстепенных творений с неоднозначными письмами. Большинство отвечали с благодарностью, не задавая неудобных вопросов. Лишь мэтр Боннваль, аптекарь, проявил недоумение:

«Мессир, благодарю вас за эти прекрасные этюды лекарственных растений. Однако, быть может, память меня подводит, но я не припоминаю, чтобы покойный учитель дарил их мне при жизни. Не вы ли скорее дарите их мне сегодня в память о нём?».

Этот ответ грозил разрушить всю стратегию. Если бы Боннваль засвидетельствовал, что ничего не получал от учителя, это бросило бы тень сомнения на все прочие показания. Франческо нужно было отреагировать.

Он написал аптекарю пространное письмо, объясняя, что учитель в последние свои недели раздал множество творений, но что некоторые получатели, в смятении траура, не сохранили о том точного воспоминания. Он предположил, что Боннваль, вероятно, забыл об этом даре из-за горя.

Затем, что было ещё важнее, он направил Боннвалю второе, доверительное письмо, в котором объяснял, что ведётся злонамеренное расследование и что некоторые завистники пытаются поставить под сомнение законное наследство учителя. Он просил аптекаря, если его будут допрашивать, подтвердить, что получил эти рисунки *«в то время, когда учитель был ещё жив»*.

Это второе письмо было рискованным. Оно превращало Боннваля в сознательного сообщника. Но у Франческо не было выбора. Нужно было обеспечить показания аптекаря.

Боннваль, человек простой и преданный, согласился свидетельствовать в желаемом смысле. В своём ответе он писал:

«Мессир, по размышлении и сверившись с моими записями, я вспоминаю, что учитель передал мне эти этюды во время своей последней болезни, в знак признательности за мою заботу. Горе смутило мою память, но теперь всё вспоминается ясно. Если какая-либо власть станет меня допрашивать, я без колебаний подтверждаю этот дар».

Франческо вздохнул с облегчением. Ключевой свидетель был закреплён. Но этот случай показал ему хрупкость его

постройки. Один свидетель, что отречётся, — и всё рухнет.

Расследование Тривульцио

Тривульцио не терял времени. Уже в ноябре 1525 года он начал своё расследование. Сперва он написал своему французскому корреспонденту, монсеньору Жану дю Белле, епископу Манскому, у которого были связи при дворе Франциска Первого.

Письмо было составлено искусно:

«Достопочтенный отец, мне нужны ваши сведения о деликатном деле, касающемся наследства покойного итальянского художника, скончавшегося во Франции. Леонардо да Винчи, этот тосканский живописец великой славы, скончался в Амбуазе в 1519 году. Один из его бывших учеников, обосновавшийся в Милане, утверждает, что унаследовал значительную часть его творений в силу завещания, ставшего возможным благодаря грамотам о натурализации, дарованным королём. Не могли бы вы проверить в королевских архивах, существуют ли такие грамоты? И было ли зарегистрировано завещание?».

Это расследование заняло несколько месяцев, ибо сообщение между Миланом и Парижем было медленным. В ожидании ответа Тривульцио вёл своё расследование на миланской земле.

Сперва он допросил итальянских наследников Леонардо, сводных братьев учителя в Тоскане. Сер Джулиано да Винчи, старший, был вызван в Милан под предлогом нотариального дела. Тривульцио принял его в епископской резиденции и допросил.

— Мессир Джулиано, получили ли вы наследство от вашего покойного брата?

— Да, монсеньор, — ответил Джулиано, нотариус по профессии, как и его отец. — Я получил кое-какую

мебель, одежду и скромную денежную сумму. Мы с братом Антонио поделили это имущество.

— А произведения искусства? Картины, рисунки, рукописи?

— Несколько рисунков. Подготовительные этюды без большой рыночной ценности. Мой брат Леонардо не был богат, вопреки тому, что некоторые могли бы подумать. Большинство его важных творений были уже проданы или подарены при его жизни.

— Как вам передали это наследство?

— Через посредство мессира Франческо Мельци, что был самым близким учеником моего брата. Он прислал нам вещи, что нам причитались.

После ухода Джулиано Тривульцио записал в свой реестр:

«Итальянские наследники подтверждают получение нескольких второстепенных творений, но не выказывают подозрений в отношении Мельци. Их показания имеют ограниченную ценность, ибо они не присутствовали во Франции во время кончины».

Затем Тривульцио допросил нескольких миланских торговцев искусством и коллекционеров, что покупали творения Леонардо через посредство Франческо. Все подтвердили, что тот владеет творениями учителя и время от времени их продаёт. Но никто не смог предоставить документации, доказывающей их происхождение.

Кардинала Бернардо Довици да Биббиену, что купил двенадцать ботанических рисунков в 1520 году, тоже допросили.

— Ваше преосвященство, когда вы покупали эти рисунки, требовали ли вы от мессира Мельци доказать, что они принадлежали ему законно?

Кардинал ответил с раздражением:

— Монсеньор Тривульцио, я не торговец скотом, что проверяет происхождение каждого животного. Я любитель искусства. Когда мне предлагают качественные вещи, я рассматриваю их, дабы убедиться в их художественной подлинности. Юридическая подлинность меня не интересует. Франческо Мельци был учеником Леонардо. Естественно, что он владеет творениями своего учителя. Я не видел причин сомневаться.

— Но если бы эти творения были украдены?

— У кого украдены? Учитель мёртв. У него нет прямых наследников. Его братья получили свою долю. У кого Франческо мог бы украсть? У короля Франции? Но король уже владеет Джокондой и другими главными творениями. Он не выказал никакой претензии касательно вещей, что продаёт Франческо.

Этот довод, что Тривульцио услышит от многих других коллекционеров, был грозно действенным. При отсутствии истца кто мог бы обвинить Франческо в краже? Право обена сыграло в пользу французской короны, но Франциск Первый, казалось, этим не озабочен. Без явной жертвы преследовать преступление было трудно.

Контрнаступление

Пока Тривульцио вёл своё расследование, Мельци не бездействовал. Он решил взять инициативу в свои руки, вместо того чтобы пассивно ждать.

Первым его шагом было испросить личную аудиенцию у губернатора д'Авалоса. Это был кадровый военный, грубоватый в манерах. Он ценил Франческо за его художественные познания и способность отыскивать качественные вещи для своей коллекции.

Франческо явился в герцогский дворец апрельским утром, неся под мышкой маленькую картину, завернутую в красный бархат. Его приняли в личном кабинете губернатора, скромно обставленном испанской мебелью строгих линий.

— Ваше превосходительство, — начал Франческо после приветствий, — я пришёл просить вашего совета по деликатному делу. Монсеньор Тривульцио ведёт расследование о наследстве, что я получил от покойного учителя Леонардо да Винчи. Кажется, он ставит под сомнение его законность.

Д'Авалос нахмурился.

— Тривульцио? Мой духовник? Какими полномочиями он располагает для такого расследования?

— Об этом я и сам себя спрашиваю, ваше превосходительство. Действует ли Тривульцио по вашему приказу? Или он присваивает себе полномочия, что выходят за пределы его должности?

Губернатор, что не любил, когда действуют у него за спиной без его разрешения, сухо ответил:

— Никто не спрашивал у меня разрешения. Если Тривульцио взял на себя эту инициативу, значит, по собственному почину.

— Ваше превосходительство, — продолжал Франческо, — боюсь, монсеньор Тривульцио движим менее благородными побуждениями, чем поиск справедливости. Он вожделеет некоторые творения из моего собрания. Он не раз делал мне предложения о покупке, что я отклонил. Боюсь, это расследование — лишь способ давления, чтобы вынудить меня продать по низкой цене.

Это была ложь. Тривульцио никогда не делал предложений о покупке. Но Франческо ставил на то, что губернатор не станет проверять это утверждение и будет

более склонен поверить своему художественному советнику, нежели простому духовнику.

Ставка оказалась выигрышной. Д'Авалос, что недолюбливал Тривульцио — в его глазах напыщенного интеллектуала, — принял это объяснение.

— Если это так, это недопустимо. Я не могу терпеть, чтобы кто-то из моей свиты злоупотреблял своим положением ради личной выгоды.

— Ваше превосходительство, я не хотел бы навлечь неприятности на монсеньора Тривульцио. Быть может, мы могли бы дать ему понять, что это расследование выходит за рамки его полномочий и что ему следует ограничиться своими религиозными обязанностями?

Д'Авалос кивнул.

— Предоставьте это мне. Тривульцио получит внушение. А в доказательство моего доверия к вашей честности я приму творение, что вы, кажется, мне принесли.

Франческо развернул картину: небольшую Мадонну с Младенцем, копию его собственной работы по оригиналу Леонардо. Это была не самая ценная вещь, но исполненная искусно и способная польстить самолюбию губернатора.

— Ваше превосходительство, для меня честь преподнести её вам. Эта копия, что я исполнил под руководством самого учителя, отныне ваша.

Д'Авалос с удовлетворением рассмотрел картину. Он не был достаточно сведущ, чтобы отличить копию от оригинала, и Франческо не стал его разубеждать.

— Я велю повесить её в моих личных покоях. Она будет напоминать мне о вашей верности и вашем таланте.

Франческо покинул герцогский дворец с чувством победы. Ему удалось настроить губернатора против Тривульцио.

Но это была лишь битва, а не война. Прелат не даст себя запугать.

Последнее столкновение

Несколько дней спустя Франческо получил вызов *«дабы прояснить некоторые пункты расследования»*. Тривульцио не сдавался.

Франческо и Помпео явились в епископскую резиденцию. Их приняли в том же кабинете, где у Франческо была первая стычка с прелатом.

Тривульцио встретил их с учтивой холодностью.

— Мессир Мельци, я продолжил расследование о вашем предполагаемом наследстве. Я допросил итальянских наследников, нескольких коллекционеров и написал во Францию, дабы проверить существование грамот о натурализации, на кои вы ссылаетесь.

— И что вы обнаружили, монсеньор?

— Интересные вещи. Итальянские наследники подтверждают получение наследства. Коллекционеры подтверждают, что вы владеете творениями Леонардо, но никто не может засвидетельствовать их законное происхождение. Что до Франции, я ещё не получил ответа.

— Монсеньор, на каком юридическом основании вы ведёте это расследование? Мессир Мельци не был обвинён ни в каком преступлении. Никто не подавал против него жалобы.

Если бы у вас были доказательства преступления, вам следовало бы передать их подобающим судебным властям. Но у вас их нет, не так ли? У вас есть лишь подозрения и намёки.

Напряжение нарастало. Франческо вмешался, дабы его смягчить:

— Монсеньор, я понимаю вашу заботу о справедливости. Но заверяю вас, моё наследство законно. Если пожелаете, я могу показать вам завещание и переписку, что устанавливают законность моих прав.

Он достал из сумки копию изготовленных им документов и свидетельство, выданное Боро. Он положил их на стол Тривульцио. Прелат долго их изучал, поворачивая туда и сюда, ища признаки подделки.

— Эти документы кажутся подлинными на первый взгляд, — признал он. — Но видимая подлинность не есть окончательное доказательство. Их следовало бы отдать на экспертизу знатокам почерка.

— Я не вижу к тому препятствий, — с уверенностью ответил Франческо. — Отдайте их на экспертизу кому пожелаете. Вы убедитесь, что они подлинны.

Это был дерзкий блеф. Франческо ставил на то, что Тривульцио не осмелится отдать документы на анализ настоящим экспертам, ибо это означало бы публично раскрыть свои подозрения и рискнуть быть опровергнутым.

Ставка сыграла. Тривульцио, не желавший потерять лицо, выдвинув обвинение, что не сможет доказать, предпочёл выждать.

— Я подожду ответа из Франции, прежде чем решить, что делать далее. А пока, мессир Мельци, советую вам не продавать никаких важных творений. Если моё расследование раскроет нарушения, эти продажи могут быть аннулированы, и вам придётся возместить покупателям убытки.

— Принимаю ваш совет к сведению, — ответил Франческо. — Но я продолжу распоряжаться своим наследством, как считаю нужным, в пределах закона.

На этих словах Франческо и Помпео покинули епископскую резиденцию. Оказавшись на улице, Помпео с облегчением вздохнул.

— Ты сыграл смело. Если бы Тривульцио отдал твои документы на экспертизу...

— Он этого не сделает, — оборвал его Франческо. — Он человек Церкви, а не судья. У него нет ни полномочий, ни средств для настоящего судебного расследования. Всё, что он может, — задавать вопросы и надеяться, что я себя выдам. Но я себя не выдам.

Письмо из Франции

В июле 1526 года Тривульцио получил ожидаемый ответ из Франции. Монсеньор дю Белле писал ему:

«Достопочтенный отец, я расследовал, как вы меня просили, это дело Леонардо да Винчи. Я изучил архивы Счётной палаты и допросил чиновников, что проводили опись имущества покойного в 1519 году. Вот что мне удалось установить:

Никаких следов грамот о натурализации, дарованных Леонардо да Винчи, в официальных реестрах не существует. Я велел проверить дважды, и результат тот же: никакой открытой грамоты на это имя не было зарегистрировано между 1515 и 1519 годами.

Опись имущества покойного, составленная мэтром Этьеном Делуаном и мессиром Гийомом де Монкорне в мае 1519 года, не упоминает никакого завещания. Творения были изъяты на основании права обена, согласно закону, применимому к чужеземцам, скончавшимся без натурализации.

Несколько важных творений не значатся в описи, хотя должны были бы там быть, в частности Иоанн Креститель и Леда с

лебедем, что находились в мастерской учителя незадолго до его смерти.

Эти сведения настойчиво указывают на то, что мессир Мельци изъяз творения из королевской описи и сфабриковал поддельное завещание, дабы оправдать владение ими. Однако Его Величество король Франциск не выразил никакого намерения преследовать это дело. Король уже владеет Джокондой и несколькими другими главными творениями и не желает затевать дорогостоящие тяжбы, чтобы вернуть вещи, находящиеся в Италии.

В заключение, вы правы, подозревая обман, но этот обман нельзя доказать с уверенностью без доступа к подлинным документам, а даже если бы это удалось, никто, похоже, не заинтересован в его преследовании».

Тривульцио перечитал это письмо несколько раз со смешанными чувствами. С одной стороны, его подозрения подтвердились: Франческо украл наследство. С другой — ни одна власть, похоже, не была готова заняться этим делом.

Прелат вновь вызвал Франческо, но на сей раз с иной стратегией. Он больше не будет пытаться изобличить фальсификатора. Он будет искать уступок.

— Мессир Мельци, — начал Тривульцио на этой встрече, — я получил сведения из Франции, что вам неблагоприятны. Однако я человек реалистичный. Я понимаю, что некоторые положения сложны. И что порой писанный закон не воздаёт справедливости нравственным реалиям.

Франческо, удивлённый этой переменой тона, осторожно хранил молчание, ожидая, к чему клонит прелат.

— Вот что я вам предлагаю, — продолжал Тривульцио. — Я не стану продолжать расследование. Я публично признаю видимую законность вашего наследства. Взамен вы подарите Миланской церкви значимое творение из

вашего собрания. Скажем, десяток рисунков, что хранились бы в библиотеке архиепископства, в распоряжении врачей и учёных.

Франческо понял манёвр. Тривульцио не мог юридически его изобличить, а потому пытался его обобрать. Это был шантаж, замаскированный под любовное соглашение.

Первым его порывом было возмущение. Но он сдержался. Быть может, лучше было удовлетворить Тривульцио, нежели держать при себе вредоносного врага.

— Монсеньор, — по размышлении ответил Франческо, — ваше предложение любопытно. Однако рисунки, что вы вожделеете, среди самых драгоценных в моём собрании. Их ценность бесценна. Если бы мне пришлось их уступить, то лишь при полной гарантии, что вы прекратите всякое расследование и будете публично защищать законность моего наследства.

— Даю вам слово, — заверил Тривульцио.

— Слово прелата — не юридический документ, — возразил Франческо. — Я хочу письменное соглашение, подписанное и скреплённое печатью, в котором вы обязуетесь признать моё наследство и никогда более не оспаривать мои права.

Тривульцио заколебался. Такой документ сделал бы его сообщником. Но соблазн рисунков был слишком силен.

— Пусть так. Мой секретарь составит это соглашение.

Документ был разработан в последующие дни. Франческо, наставляемый Помпео, позаботился, чтобы он был юридически прочен. Тривульцио обязывался *«признать законность и правомерность наследства, полученного мессиром Франческо Мельци от покойного Леонардо да Винчи»* и *«прекратить всякое настоящее или будущее расследование о происхождении творений, составляющих означенное наследство»*.

Взамен Франческо дарил архиепископству десять рисунков руки Леонардо, а также сумму в сто золотых дукатов на постройку новой часовни в соборе.

Соглашение было подписано в августе 1526 года, в присутствии свидетелей. Для Франческо это была горькая победа. Ему пришлось уступить драгоценные творения, но он получил официальное признание своего наследства от одного из своих главных недоброжелателей. Это признание стоило заплаченной цены.

После подписания Тривульцио сказал ему с загадочной улыбкой:

— Мессир Мельци, я по-прежнему не знаю, подлинно ли ваше завещание или нет. Но одно несомненно: вы человек примечательно умный и решительный. Учитель хорошо выбрал своего наследника.

Франческо не знал, как истолковать эти слова. Был ли это искренний комплимент? Или последняя саркастическая шпилька? Он предпочёл не отвечать и покинул епископскую резиденцию со своими документами.

На улице его с тревогой ждал Помпео.

— Ну как? Сделано?

— Сделано. У Тривульцио есть его выкуп. У нас есть наш покой.

— Ты хорошо поступил. Десять рисунков в обмен на безопасность всей коллекции — приемлемая сделка.

Франческо кивнул, но чувствовал глубокую горечь. Эти десять рисунков, что он только что уступил, представляли годы труда Леонардо. Это были незаменимые вещи. И он пожертвовал ими, чтобы купить молчание алчного прелата.

— По крайней мере, — утешал его Помпео, — они будут храниться в библиотеке архиепископства. Они не будут утрачены. Учёные смогут их изучать.

— Если только священники не уничтожат их как нечестивые творения, — с горечью возразил Франческо. — Ты знаешь, что Церковь думает о вскрытиях. Они считают это осквернением тел.

— Тривульцио не глуп. Он знает, что эти рисунки имеют научную ценность. Он их защитит.

Франческо хотел ему верить. Тривульцио был прежде всего коллекционером. Эти рисунки скорее украсят его личный кабинет, нежели общедоступную библиотеку.

Он вскоре передал обещанные десять рисунков. Он отобрал вещи высокого качества, но не самые совершенные. Этюды сердца остались в его владении, как и рисунки, показывающие нервную систему или строение глаза.

Тривульцио сдержал слово. Он распространил в образованных кругах Милана, что наследство Франческо было *«совершенно законным и подтверждённым надлежащими документами»*. Это ручательство прелата, известного своей интеллектуальной честностью, значительно укрепило его положение.

Коллекционеры, что колебались покупать творения сомнительного происхождения, почувствовали успокоение. Продажи возобновились с новой силой. Он даже смог поднять цены, воспользовавшись этой обрётённой законностью.

Но психологическая цена была высока. Франческо понимал, что всегда будет во власти нового упорного дознавателя, что задаст верные вопросы. Его безопасность покоилась на хрупком равновесии между правдоподобием его документов и отсутствием у властей желания копнуть слишком глубоко.

Женитьба

В 1527 году Франческо принял решение, что преобразит его жизнь: он женился. В его возрасте пора было завести семью, хотя бы ради поддержания внешних приличий. Человек его положения, оставшийся холостяком, вызывал подозрения. Шептались, что у него порочные наклонности, что он состоял в слишком тесной связи со своим покойным учителем.

Эти слухи, хоть и беспочвенные — отношения между Франческо и Леонардо всегда были отношениями учителя и ученика, — вредили его репутации. Женитьба была лучшим способом заставить их умолкнуть.

Выбор невесты определялся практическими соображениями. Он искал женщину из хорошей семьи, но без чрезмерного состояния, что придала бы ему почтенность, не задавая слишком много вопросов о его занятиях. Он нашёл её в лице Анджелики Ландриани.

Анджелике было двадцать четыре года, младшей дочери обедневшей семьи мелкого ломбардского дворянства. Её отец, бывший военный, растратил основную часть семейного состояния на игру. У Анджелики не было значительного приданого, что уменьшало её шансы на выгодный брак. Для неё выйти замуж за Франческо Мельци, художественного советника губернатора и владельца прекрасного палаццо, представляло неожиданную удачу.

Он встретил её на приёме в герцогском дворце. Это была молодая женщина с приятными, хотя и неприметными чертами, вежливыми манерами, скромным, но достаточным умом. Она казалась покладистой, нелюбопытной, довольной своей участью. Именно то, что он искал.

Помолвка была отпразднована в апреле 1527 года, свадьба — в июне. Церемония состоялась в церкви Санта-Мария-делле-Грацие, за ней последовал пир в палаццо Мельци. Присутствовало около пятидесяти гостей: представители миланской знати, художники, торговцы. Сам губернатор д'Авалос почтил событие своим присутствием.

Помпео был свидетелем Франческо. В своей речи он воспел достоинства жениха и выразил надежду, что этот союз будет благословён множеством детей.

Первая брачная ночь стала для Франческо скорее испытанием, чем удовольствием. Ему нужно было исполнить свой супружеский долг, но сердце его к этому не лежало. Анджелика, воспитанная в самых строгих правилах, покорилась пассивно, не выказав ни удовольствия, ни неудовольствия.

Франческо и Анджелика установили пристойный супружеский распорядок. Они делили одну постель, вместе принимали пищу, вместе присутствовали на богослужениях. Но никакой подлинной душевной близости их не связывало. Это было практическое устройство, а не союз любви.

Анджелика оказалась деятельной супругой. Она умело управляла домом, надзидала за слугами, изящно принимала гостей. Она никогда не задавала неудобных вопросов о занятиях мужа, не стремилась понять тайны его собрания произведений искусства.

Франческо с самого начала дал понять: чердаки палаццо, где он хранил свои самые драгоценные сокровища, были строго запрещены Анджелике. Это было его личное владение, куда ей запрещено было ступать. Анджелика приняла это правило без возражений, как принимала всё, что решал её муж.

Дети

В 1528 году Анджелика родила их первого ребёнка, мальчика, которого назвали Орацио. Франческо испытал неожиданное чувство, держа на руках новорождённого сына. Впервые за много лет он ощутил нечто, не отравленное ложью и обманом.

Суждено ли будет и этому невинному ребёнку однажды столкнуться с семейной тайной? Франческо надеялся, что нет. Он хотел, чтобы его дети жили в неведении правды, чтобы они искренне верили в законность семейного наследства.

Но в то же время кто-то должен был знать правду. Кто-то должен был продолжить обман после его смерти. Эта дилемма будет преследовать его десятилетиями.

В 1530 году родился второй сын, Франческо-младший, прозванный Кекко, чтобы отличать его от отца. Затем в 1532 году появилась Элизабетта, дочь, которой так ждала Анджелика.

С тремя детьми палаццо Мельци по-настоящему стал семейным домом. Детские крики разносились по коридорам, игрушки загромождали комнаты, кормилицы и гувернантки сменяли друг друга. Франческо, что годами жил в прилежной тишине своей коллекции, пришлось приспособиться к этому домашнему шуму.

Он оказался внимательным, хоть и несколько отстранённым отцом. Он проводил вечера с детьми, рассказывая им истории, показывая рисунки — никогда творения Леонардо, всегда лишь свои собственные копии, — обучая их азам живописи и геометрии.

Орацио, старший, проявлял живой ум и неутолимую любознательность. Не по годам рано он начал задавать неудобные вопросы о происхождении семейного

состояния, о таинственном наследстве великого Леонардо, о котором говорил весь свет.

— Отец, — спросил он однажды вечером, когда Франческо укладывал его спать, — почему у нас на чердаках все эти картины и бумаги? Почему я не могу их увидеть?

— Ты увидишь их, когда подрастёшь. Сейчас ты слишком мал, чтобы понять их ценность и важность.

— Но это же наследство великого учителя, разве нет? Учителя, что научил тебя всему?

— Да, сын мой. Однажды всё это будет твоим. И тебе придётся защищать это, как я защищаю сейчас.

— Защищать от кого?

Франческо колебался. Как объяснить пятилетнему ребёнку, что семейное наследство покоится на краже и подлоге?

— От тех, кто не понимает ценности искусства. От тех, кто хотел бы уничтожить или рассеять то, что создал учитель. Понимаешь?

Орацио кивал, не понимая. Но эти разговоры оставляли глубокий след в его юном уме. Он рос с сознанием того, что существует семейная тайна, нечто важное, что откроется ему позже.

Франческо-младший, младший сын, был совсем не похож на старшего брата. Это был весёлый, беспечный мальчик, куда больше интересовавшийся играми и лошадьми, чем искусством или книгами. Франческо понимал, что этот сын никогда не станет хранителем наследства. Именно Орацио понесёт эту ношу.

Что до Элизабетты, она росла как девушки её времени, воспитываемая, чтобы стать хорошей женой и хорошей матерью. Франческо был с ней нежен, но ни на миг не помышлял посвятить её в тайны наследства. В

патриархальном обществе семейные тайны передавались от отца к сыну, никогда к дочерям.

Процветание и упрочение

1540-е годы были годами относительного процветания. Женитьба принесла ему общественную почтенность, которой он искал. Дети росли здоровыми. Его собрание творений Леонардо, вопреки продажам, отнюдь не убывало, но со временем лишь дорожало.

Ибо Франческо усвоил основной принцип художественного рынка: редкость создаёт цену. Чем дороже он продавал, тем дороже становились творения, что он сохранял. Европейские коллекционеры теперь боролись за право приобрести хотя бы малозначительный рисунок руки Леонардо.

Он стал искусным торговцем художественными произведениями. Он выстроил сеть клиентов по всей Европе: кардиналов в Риме, государей во Франции, банкиров в Венеции, дворян в Неаполе. Каждая продажа тщательно готовилась, дабы извлечь наибольшую выгоду при наименьшем риске.

Помпео продолжал играть важную роль как посредник и советник. Оба мужчины за эти годы связала глубокая дружба. Помпео стал тем поверенным, каким Салаи так и не смог стать: умным, скрытным, надёжным.

Каждый пятничный вечер Помпео приходил ужинать в палаццо Мельци. После трапезы, пока Анджелика удалялась с детьми, они запирались в кабинете Франческо, дабы обсудить дела.

— Я получил письмо от кардинала Фарнезе, — объявил Помпео однажды ноябрьским вечером 1535 года. — Он желал бы приобрести серию архитектурных чертежей. Он готов заплатить до двухсот дукатов.

— Фарнезе? Кардинал, что только что был избран папой?

— Он самый. Он принял имя Павел Третий. Представь себе, какую ценность приобрели бы эти чертежи, будь они куплены самим папой!

Франческо задумался. Продажа папе представляла необычайную возможность. Папское ручательство сделало бы законность его собрания окончательно неоспоримой. Но это было также рискованно. У Ватикана были значительные средства для расследования. Если бы расследование раскрыло обман, последствия были бы катастрофическими.

— Не знаю. Ватикан может задать неудобные вопросы о происхождении.

— Напротив. Папа Фарнезе — страстный любитель искусства, а не инквизитор. Он хочет творения Леонардо для своего личного собрания, а не расследования их происхождения. И потом, подумай о защите, что тебе даст папское покровительство. Кто осмелится напасть на человека, чьи творения покупает сам папа?

Этот довод убедил Франческо. Сделка была устроена. Он отобрал пятнадцать архитектурных чертежей Леонардо — планы укреплений, этюды куполов, проекты церквей. Это были не главные вещи, но они были искусно исполнены и достаточно впечатляющи, чтобы удовлетворить папского коллекционера.

Продажа состоялась в январе 1536 года, в Риме. Франческо совершил поездку в сопровождении Помпео. Это был его первый визит в Вечный город со времён, когда он сопровождал Леонардо между 1513 и 1516 годами.

Рим изменился. Город всё ещё носил шрамы страшного разграбления 1527 года, когда императорские войска неделями грабили и разрушали. Но уже шло

восстановление. Повсюду возводились новые дворцы, свидетельствуя о стойкости города.

Их приняли в Ватикане с почестями, подобающими торговцам искусством высокого ранга. Папа Павел Третий принял их в своей личной библиотеке.

Он долго рассматривал предъявленные чертежи, поднося их к свету, сравнивая с другими творениями Леонардо, что уже у него имелись.

— Эти чертежи великолепны. Тотчас узнаётся рука учителя. Эта точность линии, эта геометрическая строгость... Да, это подлинные Леонардо.

— У Вашего Святейшества глаз знатока, — с подобающим почтением ответил Франческо.

— Мы знали Леонардо при жизни, знаете ли. Мы были тогда кардиналом, а он работал на нашего предшественника Льва Десятого. Необыкновенный человек, хоть и весьма непостоянный. Он начинал сотню замыслов, ни одного не завершая!

Франческо вежливо улыбнулся этому воспоминанию. Папа продолжил:

— Но скажите нам, мессир Мельци, как столь молодой человек, как вы, унаследовал такое собрание? Вам было лишь... сколько, двадцать девять лет при смерти учителя?

Вопрос, заданный с видимым добродушием, был на самом деле проверкой. Франческо тотчас это понял. Ему нужно было ответить с достаточными подробностями, дабы удовлетворить любопытство папы, но не сказать слишком много.

— Я имел честь служить учителю тринадцать лет, Ваше Святейшество. С шестнадцати лет до его смерти. Я был больше, чем простым учеником. Я был его помощником, его секретарём, почти его приёмным сыном. У учителя не было прямых наследников. Он счёл уместным завещать

мне большую часть своих творений, зная, что я сумею их сохранить.

— Значит, завещание?

— Да, Ваше Святейшество. Составленное по всем законным правилам, перед нотариусом, согласно французским законам.

— Ах, Франция... Королевство, которому посчастливилось владеть Джокондой. Мы пытались приобрести её для наших коллекций, но король Франциск наотрез отказывается с ней расставаться. Он утверждает, что это его любимый портрет!

Разговор перешёл на другие художественные темы. Папа рассказал о своих замыслах для Ватикана, о фресках, что намеревался заказать, о скульптурах, что желал приобрести. Франческо отвечал с рассудительностью, показывая свою осведомлённость.

Папа согласился купить пятнадцать чертежей за двести пятьдесят золотых дукатов — на пятьдесят больше первоначально предложенной цены. Франческо удалось не только продать папе, но и получить цену, превзошедшую его ожидания.

Покинув Ватикан, Помпео и Франческо отпраздновали свой успех в римской таверне.

— Папа клюнул на наживку. Теперь ты можешь говорить, что сам папа удостоверяет твою коллекцию!

— Я не совсем глал. Завещание действительно существует. Тот факт, что оно поддельно, — техническая подробность.

Они рассмеялись вместе. Каждая продажа, каждая удавшаяся ложь всё глубже прорывали пропасть между человеком, каким он стал, и тем, каким он мечтал быть в юности.

1550 год: откровение для Орацио

В 1550 году Орацио было двадцать два года. Он стал зрелым юношей: умелым, образованным, уравновешенным. Он изучал классическую словесность, живопись, архитектуру. Его особенно интересовали творения Леонардо, он непрестанно расспрашивал отца о приёмах учителя, о его открытиях, о его гении.

Франческо наблюдал за сыном со смешанными чувствами. Орацио был бы идеальным преемником для управления наследством. Но для этого ему нужно было открыть правду. И Франческо страшился этой минуты годами.

Толчком послужило предложение Орацио. Однажды вечером, после ужина, юноша обратился к отцу в кабинете.

— Отец, у меня есть предложение. Продаются земли в Треццо. Это великолепное владение, весьма плодородное, что принесло бы много дохода. Но чтобы его купить, нам понадобилось бы продать часть коллекции.

Франческо почувствовал себя обескураженным. Продажа части коллекции привлекла бы внимание, пробудила бы подозрения, рискнула бы обрушить всё здание лжи.

— Эти творения не продаются, — сухо ответил он.

— Но отец, у нас их сотни! Продажа полусотни рисунков не составила бы никакой разницы. А это позволило бы нам приобрести земли, что обогатили бы семью.

— Ты не понимаешь, Орацио. Эти творения особенные. Их нельзя продавать так, без предосторожностей.

— Почему? Что в них такого особенного? Это рисунки Леонардо, безусловно замечательные, но у нас их так много! Откуда эта таинственность?

Франческо понял, что настал этот миг. Он больше не мог уклоняться от вопросов. Орацио был достаточно взрослым, достаточно зрелым, чтобы знать правду. И если

ему когда-нибудь предстояло унаследовать, ему нужно было знать, на каком шатком основании покоилось их состояние.

— Присядь, сын мой. Нам нужно поговорить о том, что я слишком долго откладывал.

Франческо рассказал всё. Он рассказал о смерти Леонардо, о праве обена, об отчаянном решении изъять творения, о ночи кражи, об изготовлении поддельного завещания, о годах лжи, о деле Тривульцио, о последовательных продажах.

Орацио слушал молча, лицо его переходило от удивления к недоверию, затем к ужасу. Он смотрел на отца, будто видел его впервые.

— Вы лгали тридцать лет? — прошептал он. — Вся эта история о законном завещании... была ложью?

— Да, — признал Франческо. — Я лгал, чтобы защитить наследие. И чтобы защитить нас.

— Но если правда откроется, мы потеряем всё! Нашу репутацию, наше состояние, быть может, даже свободу!

— Именно поэтому тебе нужно быть осторожным. Массовые продажи, что ты замышляешь, невозможны. Они привлекают внимание, пробудят подозрения.

Орацио сжал голову руками.

— Отец, вы поставили меня в невозможное положение. Теперь мне придётся нести эту тайну, жить в страхе, самому лгать.

— Знаю, — с грустью ответил Франческо. — Но это было необходимо. Кто-то должен был знать. Кто-то должен был продолжить защищать наследие после моей смерти.

— А мои дети? Мои внуки? Им всем придётся нести это бремя?

— Столько, сколько будет нужно. Пока не пройдёт достаточно времени, чтобы никто больше не мог нам угрожать. Быть может, век. Быть может, два.

— Два века лжи, — пробормотал Орацио. — Какое же наследие вы нам оставляете.

— Наследие гения, — возразил Франческо. — Без нас оно было бы утрачено. Разве это не приемлемая цена?

Орацио не ответил. Он покинул кабинет без единого слова, оставив Франческо наедине со своим раскаянием.

Примирение

Отношения между Франческо и Орацио оставались напряжёнными несколько месяцев. Орацио избегал отца, едва обращался к нему во время семейных трапез. Анджелика, что чувствовала неладное, не зная его причины, пыталась их примирить.

— Что между вами произошло? — спрашивала она у Франческо. — Почему Орацио обращается с тобой с такой холодностью?

— Разногласия по поводу управления имуществом, — отвечал Франческо. — Ничего серьёзного. Это пройдёт.

Но это не проходило. Орацио казался неспособным принять откровение, что разрушило идеализированный образ отца, что он носил в себе.

Именно Помпео, чьё здоровье быстро угасало, взял слово, дабы примирить отца и сына. В феврале 1552 года он вызвал Орацио на приватный разговор.

— Юноша, — сказал ему стареющий скульптор, — ты судишь своего отца со строгостью юности, что никогда не сталкивалась с невозможным выбором. Твой отец оказался перед дилеммой: позволить гению Леонардо рассеяться и погибнуть, или действовать в обход закона, чтобы его

спасти. Он выбрал второе. Было ли это нравственно правильно? Не знаю. Но это было по-человечески понятно.

— Он украл, — возразил Орацио. — Он лгал. Он обманул доверявших ему людей.

— Он спас сокровища, что были бы утрачены. Эти рукописи, что твой отец изъял, содержат открытия, опережающие медицинскую науку на несколько столетий. Если бы французские служащие их конфисковали, они кончили бы в подвале, изгрызенные крысами. Благодаря твоему отцу они сохранены, изучаются, передаются дальше.

— Какой ценой? Ценой чести нашей семьи?

— Чести? — с грустной улыбкой повторил Помпео. — Мальчик мой, честь — роскошь, доступная лишь тем, кто никогда не сталкивался с раздирающим выбором. У твоего отца не было этой роскоши. Ему пришлось выбирать между нравственной совестью и сохранением гения. Он выбрал гений. Можешь ли ты его за это осуждать?

Орацио умолк, размышляя.

— А теперь, — продолжал Помпео, — ты сам перед тем же выбором. Либо ты раскроешь правду и разрушишь свою семью, либо продолжишь ложь и сохранишь наследие. Что ты выберешь?

— Не знаю, — признался Орацио. — Правда не знаю.

— Тогда не спеши обдумать это. Но пока размышляешь, не наказывай отца за то, что он сделал то, что считал правильным. Он нёс эту ношу один тридцать лет. Он заслуживает хотя бы твоего сострадания, если не одобрения.

Этот разговор произвёл глубокое впечатление на Орацио. Он начал восстанавливать отношения с отцом. Общение стало возможным вновь, хоть и всё ещё напряжённым.

Однажды вечером Орацио вернулся в кабинет Франческо.

— Отец, — устало объявил он, — я подумал. Я сделаю, что вы просите. Я буду хранить тайну. Но при одном условии.

— Каком?

— Чтобы вы дали мне все подробности. Все документы, все доказательства, все имена сообщников. Мне нужно точно знать, где ловушки, дабы их избежать.

Франческо кивнул с облегчением. Следующие месяцы он посвятил посвящению Орацио в тонкости мистификации. Он показал ему поддельные документы, объяснил, как их изготовил, раскрыл существование второстепенных сообщников, обучил искусству продавать творения, не пробуждая подозрений.

Орацио учился быстро. Приняв своё положение, он показал себя не менее искусным в сокрытии, чем отец. Тайна была передана. Ложь продолжится.

Опечатанный документ

В 1555 году Франческо принял решение, что преследовало его годами. Он составил полный документ, повествующий всю историю, от смерти Леонардо до настоящего времени. Этот документ будет опечатан и сохранён в семейных архивах, подлежащий вскрытию лишь будущими поколениями, когда пройдёт достаточно времени, чтобы правда могла быть раскрыта без опасности.

Мельци провёл недели, составляя этот текст. Он хотел, чтобы это было больше, чем простое повествование о событиях. Он хотел объяснить свои побуждения, свои сомнения, свои оправдания. Он хотел, чтобы потомство поняло, почему он поступил именно так и чего надеялся достичь.

Документ начинался так:

«Вам, кто прочтёт эти строки через век или более, я хочу поведать подлинную историю наследства Леонардо да Винчи, историю, что глубоко отличается от той, что известна миру.

Меня зовут Франческо Мельци. Я был самым близким учеником Леонардо да Винчи тринадцать лет, с 1506 по 1519 год. Я жил рядом с ним, учился у него, любил его, как сын любит отца. Когда он умер в Амбуазе, во Франции, 2 мая 1519 года, я оказался перед страшным выбором.

Французские законы, через право обена, отдавали короне всё имущество чужеземца, умершего без натурализации. Леонардо так и не получил грамот о натурализации. Всё его наследство должно было, таким образом, перейти к королю Франции. Главные творения — Джоконда, Святая Анна — были конфискованы и ныне входят в королевские собрания.

Но в ночь после его смерти мой товарищ Салаи и я приняли решение изъять некоторые творения из грядущей описи. Мы спрятали рукописи, содержащие научные изыскания, анатомические этюды непревзойдённой точности, трактаты о полёте и гидравлике. Мы также изъяли Иоанна Крестителя и Леду с лебедем.

Была ли это кража? Юридически — да. Нравственно — я всегда полагал, что нет. Эти творения были бы утрачены, рассеяны, уничтожены. Гений Леонардо был бы искалечен, лишён своей научной грани, что была, быть может, даже важнее его художественной грани».

Франческо продолжал свой рассказ на десятках страниц, подробно описывая каждый этап. Он объяснял, как изготовил поддельное завещание, как создал вымышленную переписку, как справился с делом Тривульцио, как продавал творения, поддерживая видимость законности.

Документ завершался философским размышлением:

«Не знаю, правильно ли я поступил. Этот вопрос преследует меня каждый день. Я лгал, крал, обманывал. Я возложил на своих потомков страшную ношу. Но я также спас сокровища, что иначе были бы утрачены.

Что сделает с этим документом тот, кто вскрыет его через век или два? Обнародует ли он его, раскрыв тем самым правду и разрушив репутацию нашей семьи? Или сохранит его в тайне, продлевая ложь ещё дольше?

Я не могу предписать это решение. Каждое поколение должно делать собственный нравственный выбор. Всё, что я могу сказать, — что я действовал по совести, сколь бы несовершенна она ни была. Я старался служить красоте и гению, даже прибегая к сомнительным средствам.

Пусть потомство судит меня. Я это принимаю».

Франческо подписал и датировал документ: «Франческо Мельци, Милан, 15 августа 1555 года». Он запечатал его красным воском со своей личной печатью, затем поместил в металлический ларец, что закрыл на ключ.

Он вызвал Орацио и торжественно вручил ему ларец.

— Этот документ содержит всю правду о нашем наследстве. Его следует вскрыть лишь тогда, когда пройдёт достаточно времени, чтобы раскрытие уже не могло навредить семье. Быть может, через сто лет. Быть может, больше.

— Как я узнаю, что настал этот час? — спросил Орацио.

— Ты не узнаешь. Это решать твоим потомкам. Твоя задача — передать этот ларец своему старшему сыну, с теми же наставлениями. И так из поколения в поколение, пока у кого-нибудь не хватит смелости открыть этот ящик Пандоры.

Орацио принял ларец с благоговением, сознавая символическую тяжесть того, что держал в руках.

— Я передам его верно, — пообещал он.

Угасание

1560-е годы стали годами физического угасания Франческо. В семьдесят лет он стал стариком: седые волосы, сутулая спина, неуверенная походка. Но ум его оставался живым, и он продолжал надзирать за управлением собранием и время от времени устраиваемыми продажами.

Помпео умер в 1558 году. Его смерть глубоко потрясла Франческо, что тем самым терял последнюю живую связь с временами Леонардо. Помпео был больше, чем сообщником или другом. Он был поверенным, советником, нравственной опорой, без которой Франческо, вероятно, не смог бы поддерживать свою двойную жизнь столько лет.

Анджелика тоже умерла, в 1562 году, унесённая лихорадкой, что истощила её за несколько дней. Франческо искренне её оплакивал, хотя их брак никогда не был союзом страстной любви. Она была верной супругой, преданной матерью, умелой хозяйкой дома. Она заслуживала большего, чем выйти замуж за человека, снесаемого тайной, что он не мог с ней разделить.

Теперь Франческо жил своими воспоминаниями. Он проводил долгие часы в тайной мастерской на чердаке, созерцая творения Леонардо, перечитывая рукописи, вспоминая годы, проведённые на службе учителю.

Иоанн Креститель, что он так и не продал, несмотря на заманчивые предложения, занимал центральное место в этой личной мастерской. Он часто смотрел на него, теряясь в созерцании этого взгляда, обращённого к небу, этой загадочной улыбки, этого пальца, указующего ввышину.

— Что бы ты подумал обо всём этом, учитель? — порой шептал он, обращаясь к картине. — Одобрил бы ты мою ложь? Или осудил бы меня?

Картина не отвечала. Но Франческо любил воображать, что Леонардо бы понял, что простил бы. Учитель всегда приспособливал свои принципы к обстоятельствам. Он понял бы, что порой, дабы служить высшему благу, приходится идти на нарушение обычных правил.

Орацио часто навещал стареющего отца. Их отношения значительно улучшились с годами. Орацио в конце концов принял возложенную на него ношу и теперь управлял собранием с той же осторожностью и тем же мастерством, что и отец.

— Как вы себя чувствуете сегодня, отец? — спрашивал Орацио во время одного из этих визитов осенью 1569 года.

— Старым, сын мой. Очень старым. Кости мои болят, зрение слабеет, руки дрожат. Но ум мой ещё ясен. Я ещё могу наслаждаться этими чудесами, что мы спасли.

Они стояли перед Иоанном Крестителем, вместе созерцая шедевр, что Франческо поклялся никогда не продавать.

— Вы никогда не жалели? — спросил Орацио. — После всего, что случилось, всей этой лжи, всех этих лет страха?

— Я сожалел, что мне пришлось лгать, жить в страхе, возложить на свою семью страшную тайну. Но я не жалею, что спас эти творения. Взгляни вокруг себя. Разве это не достаточное оправдание?

— Я хочу в это верить, отец. Дабы иметь возможность жить дальше с этой тайной.

— Тебе это удастся. Ты сильнее, чем думаешь. И однажды, когда передашь тайну своему собственному сыну, ты поймёшь, почему я поступил так, как поступил.

Смерть Франческо

В январе 1570 года Франческо почувствовал приближение конца. Он был прикован к постели уже несколько недель, ослабленный упорной лихорадкой, что врачи не могли излечить. Дни его были сочтены.

Он призвал Орацио к своему изголовью.

— Сын мой, — сказал он слабым голосом, — мне уже недолго осталось. Хочу сказать тебе несколько последних слов, прежде чем уйти.

Орацио опустился на колени у постели, взяв исхудалую руку отца в свою.

— Не говори так, отец. Ты поправишься.

— Нет, — оборвал его Франческо. — Я сам себе врач. Я узнаю эти признаки. Смерть близка. И мне нужно передать тебе мои последние наставления.

Он с трудом закашлялся, прежде чем продолжить:

— Опечатанный ларец, что я вверил тебе пятнадцать лет назад... он у тебя ещё?

— Да, отец. Он в безопасности в моих личных архивах.

— Хорошо. Ты передашь его своему старшему сыну, когда почувствуешь, что настал час. И скажешь ему то, что я говорю тебе сейчас: эта тайна одновременно бремя и честь. Бремя — потому что обязывает лгать, жить в страхе. Честь — потому что делает нас хранителями несравненного сокровища.

— Я скажу ему это, — пообещал Орацио.

Франческо закрыл глаза, собирая силы для последних слов.

— Я посвятил жизнь сохранению наследия Леонардо. Это была моя миссия, мой долг, смысл моего бытия. Теперь эта миссия твоя.

— Сколько времени, отец? Сколько поколений придётся нести эту тайну?

— Не знаю. Быть может, пять. Быть может, десять. Быть может, через двести лет, через триста лет у кого-то хватит смелости открыть ларец и раскрыть правду. А быть может, тайна будет храниться вечно. Я не могу предсказать.

Он в последний раз открыл глаза, устремив на сына взгляд, чья сила противоречила его телесной слабости.

— Что бы ни случилось, Орацио, обещай мне одно: творения должны выжить. Это всё, что имеет значение. Пусть наша репутация будет запятнана, пусть наше имя будет очернено, неважно. Но творения учителя должны быть сохранены. Это главное.

— Обещаю тебе, отец. Творения выживут.

Франческо слабо улыбнулся, успокоенный этим обещанием.

— Тогда я могу умереть спокойно. Моя миссия исполнена. Остальное в руках Бога и потомства.

Он закрыл глаза и погрузился в сон, от которого ему предстояло проснуться лишь ненадолго, за несколько часов до смерти.

Франческо Мельци тихо скончался 16 января 1570 года, пятьдесят один год спустя после смерти Леонардо да Винчи. Ему было семьдесят девять лет. До самого конца он хранил свою тайну, раскрыв её лишь сыну Орацио, и доверив свою посмертную исповедь опечатанному документу, что потомство однажды откроет.

Похороны были величественны. Архиепископ лично отслужил мессу в соборе. Испанский губернатор присутствовал на церемонии. Десятки видных фигур художественного и политического мира сошлись, дабы отдать последнюю дань тому, кто был возлюбленным учеником Леонардо и верным хранителем его наследия.

В надгробных речах восхваляли верность Франческо своему покойному учителю, его преданность делу сохранения творений гения, его щедрость к миланским культурным учреждениям. Никто не упомянул тёмные пятна, неразрешённые вопросы о точном происхождении его собрания.

Орацио, в траурном одеянии, слушал эти похвалы со смешанными чувствами. Его отец не был верным наследником законного завещания. Он был дерзким вором, талантливым фальсификатором, искусным мистификатором.

Но он был также спасителем. Без его вмешательства бесценные сокровища были бы утрачены. Эта двойственность — преступник и герой, вор и хранитель — отныне будет определять наследие, что получал Орацио.

После похорон, когда все гости разошлись, Орацио в одиночестве отправился в тайную мастерскую на чердаке. Он созерцал творения, что отец хранил больше полувека. Всё это было спасено ложью. Всё это выживет благодаря продолжению лжи. Орацио теперь был хранителем этой двойной истины: подлинности творений и лживости их происхождения.

Он достал металлический ларец с опечатанным документом отца. Он взвесил его в руке, на миг искущённый сломать печать и прочесть это посмертное свидетельство. Но удержался. Отец был ясен: этот документ предназначался будущим потомкам, а не ему.

— Прощай, отец, — прошептал он в опустевшей мастерской. — Твоё бремя теперь моё. Пусть мне удастся нести его так же достойно, как нёс его ты.

Он спустился по лестнице, что вела к чердакам, тщательно закрыв за собой дверь. Тайная мастерская вновь

погрузилась в тишину и полумрак, храня свои сокровища и свои тайны для грядущих десятилетий, для грядущих веков.

В последующие годы Орацио управлял наследством с той же осторожностью и тем же мастерством, что и отец. Время от времени он продавал второстепенные вещи тщательно отобранным коллекционерам. Он поддерживал вымысел о законности собрания. Он передал знание тайны своему собственному старшему сыну, Карло. Тайна переходила от потомка к потомку, каждый добавлял свой собственный слой мистификации и оправдания. В XVII веке, когда дело, казалось, затерялось в туманах времени, Карло Мельци решил открыть опечатанный документ, согласно наставлениям своего деда Франческо.

Откровение потрясло семью. Некоторые её члены предложили обнародовать эту посмертную исповедь. Другие воспротивились, опасаясь юридических последствий и семейного бесчестья, что из этого вытекли бы.

После долгих обсуждений был найден компромисс: документ будет сохранён в семейных архивах, но его содержание не будет разглашено. Это решение продлевало ложь, сохраняя при этом правду для истории.

Эта двойственность будет отличать семью Мельци на протяжении веков. Каждому поколению придётся делать тот же выбор, что и Франческо: продлевать ложь, дабы защитить наследие, или раскрыть правду, рискуя всё потерять. И на протяжении веков все будут выбирать сохранение лжи, становясь тем самым посмертными соучастниками дерзкой кражи, что спасла гения.

Тайна будет переходить от отца к сыну, пересекая века, переживая войны, революции, политические потрясения.

В XVIII веке, во время наполеоновских войн, она обретёт патриотическое измерение: защита итальянского наследия от французского разграбления. В XIX веке, во время Рисорджименто, она станет символом итальянского культурного сопротивления. В XX веке, во время двух мировых войн, она переживёт бомбардировки и оккупации.

Каждая эпоха будет по-новому осмыслять значение этого обмана, приспособлявая его к собственным ценностям и заботам. Но сама тайна останется нетронутой, оберегаемая хранителями, что понимали: некоторые истины должны оставаться скрытыми, дабы красота выжила.

На протяжении веков коллекция будет постепенно рассеиваться. Последовательные продажи, завещания учреждениям и стратегические пожертвования приведут к тому, что творения, спасённые Франческо в 1519 году, окажутся в крупнейших музеях мира. Британский музей, Лувр, Уффици, Метрополитен — все будут владеть вещами, происходящими из обмана Мельци, так никогда и не узнав их подлинного происхождения.

Иоанн Креститель, что Франческо поклялся никогда не продавать, останется в семье до середины XIX века. В 1836 году последний прямой потомок Мельци, Витторио, продаст его Лувру за значительную сумму. Картина воссоединится с Джокондой во французских собраниях, замкнув круг, начатый почти три века назад.

История была далека от завершения. Она лишь начиналась. И ещё четыреста пятьдесят лет ложь Франческо Мельци будет охранять гений Леонардо да Винчи, покада наконец, в 2025 году, правда не вырвется на свет.

Но даже тогда вопрос останется: был ли Франческо Мельци вором или спасителем? Преступником или

героем? Ответ, как всегда, будет зависеть от того, кто задаёт вопрос и с какой целью.

Ибо история, как и искусство, никогда не бывает простой. Она соткана из полутонов, невозможного выбора, лжи, что служит правде, и правды, что разрушает красоту. Франческо Мельци это понимал. И именно поэтому его ложь просуществовала так долго.

ГЛАВА 4. АРХИТЕКТУРА ЛЖИ

Париж, кабинет Бертье, 7 октября 2024 года

Пьер Бертье устало закрыл папку. Перед ним, разложенные на столе, обвинительные документы складывались в неумолимое обвинительное заключение: фотокопии девяти томов каталога актов Франциска Первого, переписка историков XIX века, филологический анализ мнимого завещания, сравнительные исследования почерков.

Маршан склонился к экрану, где отображалась оцифрованная статья 1893 года.

— Что это?

— Статья Анатоля де Монтегло. «Завещание Леонардо да Винчи», опубликованная в актах Съезда обществ изящных искусств. Самая невероятная история во всём этом деле.

— Более невероятная, чем остальное?

— Судите сами.

Бертье откинулся в кресле, сложив руки.

— Конец XIX века. Завещание Леонардо циркулирует, но лишь в итальянском переводе. Никто никогда не видел французского оригинала, что должен был быть передан амбуазскому нотариусу в 1519 году.

— Нотариальная контора ещё существовала?

— Да, оставаясь в одной и той же семье с XV века до конца XIX. Боро были нотариусами из поколения в поколение. Необычайная непрерывность, которая означает, что если завещание было передано туда, подлинники должны были там сохраняться. Все историки того времени пытались получить туда доступ.

Маршан нахмурился.

— Безуспешно?

— Всегда вежливый, но категоричный отказ. Сам Монтегло потерпел неудачу. Аббат Шевалье, известный местный мемуарист, Шарль де Грандмезон, департаментский архивист... всех отвадили. Монтегло сам об этом пишет: *«Нас так же вежливо, как и изящно, вытравивали категорическим отказом»*.

— Под какими предложениями?

— Под классическими отговорками: старые архивы ещё не разобраны, скорый переезд, обещания будущих изысканий... Монтегло пишет: *«Мы приняли это к сведению»*. Он понял намёк.

— А документ?

— В 1885 году происходит важнейшее событие: род Боро угасает. Последний представитель умирает без наследника по мужской линии. Контора впервые переходит в другие руки. Новый нотариус, некий мэтр Мартен, наследует полный кавардак. Он поручает одному из своих клерков навести порядок. Клерк обнаруживает, что самые старые архивы, XVI века, хранятся в бочках.

— В бочках?

— Обычная практика. Монтегло цитирует Жака-Огюста де Ту, великого историка, что так же хранил свои собрания. Прочно, герметично, защита от влаги и грызунов. В одной из них, среди связок старых договоров, клерк натывается на документ, что выделяется среди прочих.

Он провёл пальцем по экрану.

— *«Не подлинник, но старинная бумажная копия семнадцатого века, сделанная, очевидно, ввиду любопытства и исключительной важности документа»*.

— Копия XVII века. Более века спустя после событий?

— Полтора века, если быть точным. И по-французски, не по-итальянски. Что наводит на мысль, что французский

оригинал существовал. Клерк передаёт документ некоему Скрибу, преподавателю рисования в коллеже Роморантена.

— Роморантен? Почему именно там?

— Учитель пребывал там в 1516–1517 годах ради проекта королевской резиденции, что так и не был осуществлён. Скриб представляет документ на Съезде обществ изящных искусств в 1893 году.

Хранитель поднялся и принялся расхаживать взад-вперёд.

— Позвольте мне подытожить. Десятилетиями Боро отказывают в доступе к своим архивам. Затем, как только семья утасует и контора переходит в другие руки, находят копию? Слишком удобно. Если у Боро был оригинал, к чему эта тайна?

— Монтегло в некотором роде отвечает на это. Он пишет: *«Теперь известно, что старинные нотариальные книги шестнадцатого века уже не найти и что подлинник безвозвратно утрачен»*.

— Какой эвфемизм. Что нам говорит эта находка?

— В XVII веке кто-то счёл полезным скопировать это завещание. Документ достаточно важный, чтобы заслуживать копирования, но, быть может, создававший проблемы. Иначе почему не сохранить оригинал? Оригинал исчез между XVII веком и концом XIX. Исчезновение... удобное.

— Удобное?

— Потому что поздняя копия ничего не доказывает. Никакой серьёзной экспертизы невозможно, никакого палеографического анализа, никакого исследования чернил, бумаги, печатей. Лишь косвенное свидетельство. Эта история с бочкой поддерживает иллюзию, что оригинал существовал, делая при этом невозможной малейшую проверку.

— Вы полагаете, что это было умышленно? Что Боро заставили оригинал исчезнуть?

— Я ничего не могу доказать. Но подумайте о хронологии. Три века они ревниво охраняют свои архивы. Отказывают в доступе самым квалифицированным историкам. Затем семья угасает, контора переходит в другие руки, и, как назло, находят копию, что не позволяет никакой экспертизы, но поддерживает легенду живой.

— Притянуто за уши, но не невозможно.

— Это вписывается в общую схему. Всякий раз, как копаешь, находишь следы, но никогда окончательных доказательств. Свойство хорошо выстроенной мистификации.

Маршан вернулся, чтобы сесть.

— Зачем Боро было бы защищать этот обман? Какой у них интерес?

— Несколько гипотез. Прежде всего профессиональная тайна. Нотариус не разглашает нарушения актов, составленных его предшественниками. Это бросило бы тень на всё сословие. Затем давление. Потомки Мельци, что могли купить молчание. Не впервые крупная семья использует своё влияние, чтобы заставить исчезнуть неудобные документы. Наконец, простейшее предположение: им нечего было скрывать, потому что нечего было находить. Оригинал никогда не существовало. Копия XVII века сама есть подделка, созданная для укрепления легенды.

— Ход событий меня смущает. Три века абсолютного молчания, а затем внезапно, как раз в тот момент, когда интерес к Леонардо взрывается по всей Европе, когда любопытные начинают задавать правильные вопросы, находят копию.

— Вы уловили суть. 1880–1890-е годы отмечают перелом в исследованиях о Леонардо. Гюстав Юзан публикует его биографию, Шарль Равессон-Моллиен издаёт рукописи Института. Леонардо становится крупным культурным явлением. И именно в этот момент завещание вновь всплывает.

— Слишком хорошо, чтобы быть правдой. Если бы вы были Боро и хранили семейную тайну, какой момент был бы лучшим, чтобы её раскрыть?

— Представьте, что они всегда знали, что это завещание проблематично. Быть может, даже поддельно. Но они ничего не могли сказать, не скомпрометировав честь своей должности. Поэтому они хранили молчание. Затем последний Боро умирает. Династия угасает. Больше не нужно защищать семейную тайну. Как раскрыть её, не запятнав репутацию семьи? История с бочкой оказывается блестящей.

— Начинаю понимать. Им не нужно ничего раскрывать. Это новый нотариус делает открытие. Боро мертвы, их достоинство спасено. А копия XVII века позволяет поддерживать неопределённость.

— Идеальная стратегия выхода. Тайна раскрыта, но никто не может обвинить Боро во лжи. Они просто хранили документ, чью подлинную природу, возможно, не знали.

— Даже само открытие было подстроено?

— Скорее облегчено. Последний Боро знал, что умрёт без наследника, что контора перейдёт в другие руки. Быть может, он оставил этот документ в месте, где его найдут. Не слишком легко, что пробудило бы подозрения. Но и не слишком трудно. Одна бочка среди прочих, что добросовестный клерк в конце концов откроет при описи. А внутри — копия, достаточно старая, чтобы быть правдоподобной, достаточно недавняя, чтобы быть

читаемой, и, главное, достаточно поздняя, чтобы никакая серьёзная экспертиза не была возможна.

Он достал другой документ из ящика.

— Взгляните. Опись архивов конторы, составленная в 1860 году, за двадцать пять лет до смерти последнего Боро. Угадajte, что там находится?

— Никакого упоминания завещания?

— Никакого. Опись подробна. Она перечисляет сотни документов XVI века. Но ни малейшего завещания Леонардо да Винчи. Значит, либо оно было спрятано где-то, где даже официальная опись не могла его найти, либо его ещё не существовало в 1860 году, либо оно существовало, но тогдашний Боро предпочёл его не упоминать, зная, что его время придёт.

— Головокружительно. Заговор, вовлекающий десятки людей.

— Не заговор. Передача. Каждое поколение Боро получало тайну от предыдущего. *«В наших архивах есть проблематичный документ, касающийся Леонардо да Винчи. Лишь наследники семьи Мельци могут получить к нему доступ. Передайте это наставление своему преемнику»*. Не нужно подробных объяснений. Лишь простое указание, повторяемое от отца к сыну.

— И никто никогда не разрывал эту цепь?

— Это указание не было для них чем-то необычным. Одна тайна среди прочих.

— Если эта теория верна, значит, Боро знали, что завещание поддельно. Они были соучастниками с самого начала.

— Необязательно активными соучастниками. Быть может, просто сознательными хранителями. Представьте: около 1525 года Франческо Мельци, тогда в Милане, нуждается в удостоверении своего поддельного завещания. Он

отправляется к амбуазскому нотариусу, Гийому Боро, предку династии.

— И говорит ему: *«Здравствуйте, я пришёл зарегистрировать поддельное завещание»*.

— Нет, конечно. Он представляет документ как подлинный. Но Гийом Боро, что видал виды, замечает изъяны. Необычные формулировки, детали, что не сходятся. Например, отсутствие грамоты о натурализации — сведение, известное нотариусу. У Франческо было пять-шесть лет, чтобы отточить свой рассказ, но некоторые технические подробности выдают позднюю подделку. Франческо Мельци — миланский дворянин. У него, быть может, есть деньги, чтобы купить молчание. Боро соглашается закрыть глаза, хранить *«завещание»* в своих архивах, под печатью, но не удостоверяя его. Это даёт ему своего рода страховку. Если дело обернётся плохо, он всегда сможет сказать, что хранил след этого нарушения.

Маршан принялся расхаживать взад-вперёд.

— Захватывающая теория.

— Никаких прямых доказательств. Но много совпадающих признаков. Упорный отказ Боро предоставлять доступ к архивам. Отсутствие в описи 1860 года. Своевременное открытие сразу после угасания семьи. И главное, тот факт, что это копия XVII века, а не оригинал XVI века.

— Почему *«главное»*?

— Потому что копия XVII века — идеальный компромисс. Она доказывает, что документ существовал. Именно то, что сделали бы, если хотели одновременно раскрыть и скрыть правду.

— Меня захватывает изобретательность этой постройки. На каждом уровне находится ровно столько сведений,

чтобы поддержать легенду, но никогда достаточно, чтобы окончательно её доказать.

— Искусство мистификации. Никогда не лгать полностью. Оставлять следы, но неопределённые. Создать систему, что может пережить своих создателей, ибо опирается не на одного человека, а на институт.

— Боро как институт.

— У Франческо Мельци хватило гениальности понять, что ему нужен институциональный поручитель. Не просто отдельные сообщники, что умрут, унеся с собой тайну. Но институт, что продолжится в веках.

Бертье продолжал:

— Именно поэтому это дело одержимо мной уже три года. Это не просто поддельный документ. Это целая архитектура лжи, постройка столь искусная, что пережила пять веков. Франческо Мельци был не просто вором-оппортунистом. Это был стратег, что мыслил в очень долгосрочной перспективе.

— Предположим, ваша теория верна...

— Даже если я ошибаюсь в деталях, общая схема остаётся верной. Это завещание создаёт слишком много проблем, чтобы быть подлинным. И то, как оно сохранялось и передавалось, наводит на мысль об умышленном стремлении поддерживать неопределённость.

— Представьте, что вы Франческо Мельци в 1519 году. Вам двадцать девять лет. Вы только что потеряли учителя. У вас нет собственного состояния. Ваша семья презирует вас за то, что вы растратили юность, следуя за художником, вместо того чтобы сделать карьеру. И вдруг вы оказываетесь во владении творениями, что могли бы сделать вас человеком богатым и уважаемым.

— Если вы можете доказать, что они принадлежат вам законно, — возразил Маршан.

— Вот в чём узел проблемы. Без завещания вы всего лишь вор. С завещанием вы законный наследник. И вот вы думаете создать поддельное завещание. Но вы умны. Вы знаете, что спешка губительна. Вы даёте всему улечься. Вы возвращаетесь в Италию со своими сокровищами. Вы выжидаете. Пять лет, может, шесть. И когда вам нужно узаконить продажу части коллекции, вы предъявляете завещание. Не раньше. Именно так и поступил Мельци. Первое упоминание завещания в его переписке датируется 1525 годом.

— Вы полагаете, что он потратил всё это время на изготовление документа?

— На его изготовление и, что ещё важнее, на создание целой сети показаний, что его подтвердят. Мельци был образован. Он знал важность перекрёстных доказательств. Одного завещания недостаточно. Нужны люди, что смогут сказать: *«Да, я видел, как Леонардо составлял это завещание»* или *«Да, я слышал, как Леонардо высказывал эту последнюю волю»*.

— Но как найти таких свидетелей?

Бертье вернулся к столу и открыл другую папку.

— Взгляните на эти письма. Это переписка членов семьи Мельци между 1520 и 1530 годами. В них находятся намёки на *«верных друзей»*, что *«помнят»* намерения Леонардо. Слуг Кло-Люсе, что якобы *«слышали»*, как учитель говорил о своих наследниках. Местного священника, что якобы *«присутствовал»* при последних минутах. Все эти показания чудесным образом сходятся к одному выводу: Леонардо хотел завещать всё Франческо.

— Купленные свидетели?

— Быть может, не все. Некоторые могли искренне верить, что говорят правду. Леонардо действительно питал большую привязанность к Франческо. Он, быть может,

говорил о нём как о своём духовном наследнике. Эти люди могли истолковать ласковые слова как юридические обещания. А Франческо мог поощрять это истолкование. Словечко тут, доверительное признание там. *«Учитель мне часто говорил...»*, *«Леонардо желал, чтобы...»*. Мало-помалу легенда выстраивается. И когда завещание появляется, никто по-настоящему не удивлён. Все уже *«знали»*, что Франческо — наследник.

Маршан подошёл к столу.

— Это психологическая манипуляция очень высокого уровня.

— Франческо был аристократом. Он был воспитан в искусстве дипломатии, тонкого убеждения. Его отец, Джованни Мельци, был капитаном миланского ополчения. Семья, привыкшая к придворным интригам, к играм власти. Франческо просто применил эти навыки к собственному положению.

— Но кое-что меня смущает, — возразил Маршан. — Если Франческо был так изобретателен, почему он не создал поддельных грамот о натурализации? Это сделало бы его ложь совершенной.

Бертье улыбнулся.

— Отличный вопрос. Я много об этом думал. Первая гипотеза. Изготовить поддельные королевские грамоты было бесконечно опаснее, чем поддельное частное завещание. Королевские архивы охранялись, за ними следили. Вставить документ в эти архивы потребовало бы соучастников на самом высоком уровне французского государства. Невозможно для молодого миланского дворянина без связей при дворе.

— А вторая гипотеза?

— Более тонкая. Быть может, Франческо не нуждался в грамотах о натурализации. Его замысел не требовал,

чтобы Леонардо был натурализован французом. Напротив, отсутствие натурализации играло ему на руку.

— Как это?

— Подумайте. Если бы Леонардо был натурализован, его имущество подпадало бы под французское право. Его завещание пришлось бы официально зарегистрировать, проверить, утвердить французскими властями. Всё это невозможно было бы подделать. Но если Леонардо умер чужеземцем, тогда его завещание подпадает под итальянское право, куда более гибкое. Его можно составить частным образом, без слишком строгих формальностей. Франческо мог довольствоваться регистрацией у сговорчивого нотариуса в Италии, вдали от взгляда французских властей.

— Но это также означает, что его имущество подпадало под право обена.

— Именно! В этом гений замысла. Франческо никогда не намеревался требовать имущество, оставшееся во Франции, в частности Джоконду. Оно было потеряно в любом случае. Нет, он метил в творения и рукописи, что увёз с собой в Италию. Они ускользали от права обена, поскольку уже не находились на французской территории в момент смерти Леонардо.

Маршан помолчал, переваривая эту мысль.

— Значит, Франческо пожертвовал Джокондой и другими творениями, оставшимися во Франции, чтобы спасти то, что уже украл?

— Именно. Он сделал прагматический расчёт. Вместо того чтобы пытаться удержать всё и рисковать всё потерять, он отказался от того, что не мог сохранить в любом случае. И сосредоточил усилия на узаконении того, чем уже владел. Умная стратегия отступления.

Бертье вернулся, чтобы сесть, и сложил пальцы.

— Но есть ещё более тревожный элемент. Я нашёл переписку между Франческо Мельци и его отцом Джованни. В этом письме Франческо упоминает *«драгоценные наследия, доверенные учителем»* и просит совета у отца о *«лучшем способе их сохранить и приумножить их ценность»*. Тон письма — тон человека, что стремится узаконить своё положение, а не спокойного наследника своих прав.

— У вас есть это письмо?

— Копия. Оригинал в государственных архивах Милана. Взгляните на этот отрывок.

Он протянул фотокопию Маршану.

— *«Отец мой, я несу бремя великой ответственности. Творения учителя ныне под моей охраной, и я должен убедиться, что никто не сможет оспорить моё право их хранить. Я предпринял некоторые шаги, дабы укрепить своё положение, но боюсь, что некоторые попытаются оспорить у меня это наследство. Посоветуйте мне, как поступить»*.

— *«Некоторые шаги»*, — повторил Маршан. — Это могло бы быть изготовление завещания.

— Или, по крайней мере, подготовка к нему. Это письмо датировано 1521 годом, то есть двумя годами после смерти Леонардо. Франческо всё ещё выстраивает свою систему защиты. Завещание появится в официальных документах лишь четыре года спустя.

— Есть ли ответ отца?

— К сожалению, нет. Или, по крайней мере, я его не нашёл. Но само молчание Джованни Мельци красноречиво. Ни одно другое письмо Франческо к отцу не упоминает явно это наследство. Как если бы вопрос был закрыт после этой переписки. Либо отец дал своё согласие, либо приказал сыну хранить молчание об этом деле.

— Чем глубже мы копаем, тем сложнее становится портрет Франческо Мельци. Это не верный и наивный ученик из легенды. Это расчётливый человек, что тщательно планирует каждый шаг.

— Человек Возрождения, — ответил Бертье. — Не будем забывать контекст. Италия XVI века была миром интриг, заговоров, предательств. Сами Мельци пережили войны между Миланом, Венецией и Францией, искусно лавируя среди партий. Франческо вырос в этой среде. Для него создание поддельного завещания ради защиты своего наследства было, вероятно, не преступлением, а практической необходимостью.

— Даже вопросом чести?

— Быть может. В его картине мира он был подлинным духовным наследником Леонардо. Завещание, что он создал, лишь узаконивало уже существующую нравственную реальность. Он не крал у учителя, он исполнял его подлинные намерения.

— Удобная рационализация.

— Все мошенники рационализируют свои поступки. Это по-человечески. Но в случае Франческо, вероятно, была доля правды. Леонардо любил его. Он доверил ему свои тайны, свои приёмы, свои рукописи. Франческо мог искренне верить, что заслуживает этого наследства.

Бертье открыл другую, более толстую папку.

— Я собрал все современные свидетельства об отношениях между Леонардо и Франческо. Вазари, конечно, что описывает Франческо как *«самого любимого ученика»*. Но также письма современников, упоминания в тогдашних хрониках. Из них складывается сложный портрет.

— В каком смысле?

— Похоже, Леонардо испытывал подлинную привязанность к Франческо, но также и к Салаи, и к другим ученикам. Он был не из тех, у кого лишь один любимец. Это был человек, что раздавал своё расположение, своё учение, свои тайны нескольким людям. Франческо был важен, безусловно, но не единственен.

— Что делает менее правдоподобной мысль, что он завещал всё Франческо.

— Именно. Если бы Леонардо хотел составить завещание, он, вероятно, разделил бы своё имущество между несколькими наследниками. Франческо — научные рукописи, Салаи — некоторые творения, быть может, ещё кому-то — остальное. Мысль, что он отдал основную часть своего художественного наследия одному человеку, противоречит тому, что мы знаем о его личности.

— Вы собрали внушительное дело. Но нам всё ещё не хватает окончательного доказательства. Всё, что у вас есть, — это признаки, несоответствия, отсутствие документов. Ничего, что неопровержимо доказывало бы поддельность завещания.

— В этом проблема с хорошо выстроенными обманами. По определению они созданы, чтобы выдержать проверку. У Франческо Мельци была целая жизнь, чтобы отточить свою ложь. Он уничтожил неудобные доказательства, создал благоприятные, купил молчание. Пять веков спустя мы пытаемся восстановить правду по обрывкам.

— Как же тогда убедить научное сообщество?

— Накоплением. Один признак ничего не доказывает. Два признака мало что доказывают. Но десять признаков, пятнадцать признаков, двадцать признаков, что все указывают в одном направлении... в какой-то момент вес доказательств становится подавляющим.

Бертье поднялся и начал перечислять на пальцах.

— Первое: полное отсутствие грамот о натурализации во французских королевских архивах. Второе: несоответствия в самом тексте завещания. Третье: молчание амбуазских нотариальных архивов на протяжении трёх веков. Четвёртое: своевременное открытие копии как раз тогда, когда историки начинают задавать вопросы. Пятое: свидетельства Монтегло, выражающие сомнения в частном порядке. Шестое: отсутствие упоминания завещания в описи 1860 года архивов Боро. Седьмое: переписка Франческо Мельци, наводящая на мысль, что он *«укреплял своё положение»*. Восьмое: применение права обена, что доказывает, что Леонардо не был натурализован. Девятое: странное поведение Салаи, что таинственно исчезает после смерти Леонардо. Каждый из этих элементов, взятый по отдельности, может иметь невинное объяснение. Но все вместе? Они образуют пучок предположений, что становится очень трудно опровергнуть.

— Проблема, — возразил Маршан, — в том, что вы просите людей поверить в заговор, длившийся пять веков. Это многовато.

— Это не заговор в смысле организованного сговора. Это ряд отдельных решений, принятых в разные эпохи, разными людьми, что все способствовали поддержанию лжи. Франческо создаёт подделку. Боро соглашаются её защищать. Переписчики XVII века воспроизводят её, не сомневаясь в подлинности. Историки XIX века повторяют легенду, потому что она красива. Никто не режиссирует всё в целом. Это самоподдерживающаяся система.

— Как городская легенда, что сама себя увековечивает.

— Совершенно верно. Городские легенды сохраняются не потому, что есть организованная группа, что их распространяет, а потому, что они отвечают психологической потребности. Они слишком

эмоционально удовлетворительны, чтобы кому-то хотелось их оспаривать.

Маршан сел и долго размышлял.

— Знаете, что поражает меня больше всего во всём этом деле? Не столько сам обман, сколько наша коллективная воля его не видеть. Пять веков тысячи историков изучали Леонардо, рассматривали его завещание, и всё же почти никто не осмелился сказать: *«Погодите, это не сходится»*.

— Потому что поставить под сомнение завещание — значит поставить под сомнение всю историографию. Значит признать, что поколения экспертов ошибались. Значит разрушить сказку. Людям это не нравится. Они предпочитают увековечивать удобную ошибку, нежели столкнуться с неудобной правдой.

— И всё же вы собираетесь это сделать.

— У меня нет выбора. Историческая истина важнее интеллектуального удобства. Мой долг историка — сказать, что произошло на самом деле, даже если это тревожит.

Снаружи с улицы поднимался шум движения. Послеполуденный свет угасал, отбрасывая оранжевые тени на стопки документов.

— Пьер, — сказал наконец Маршан, — я иногда спрашиваю себя, не строите ли вы собственную легенду. Через пятьсот лет другие историки взглянут на ваш труд и спросят себя, не стали ли вы жертвой собственных предубеждений.

— Это возможно, — признал Бертье. — История никогда не окончательна. Каждое поколение переписывает прошлое сквозь призму своей эпохи. Мы делаем всё возможное с теми средствами и той методологией, что имеем. Если через пять веков кто-то найдёт новые

доказательства, что опровергнут мою теорию, тем лучше. Это будет означать, что историческое исследование продолжает развиваться.

— Вы готовы принять, что можете ошибаться?

— Разумеется. Историк, что не готов пересмотреть свои выводы перед лицом новых доказательств, — не историк, а идеолог. Но при нынешнем состоянии наших знаний, с документами, что имеются в нашем распоряжении, я убеждён, что завещание Леонардо — подделка, созданная Франческо Мельци.

Маршан поднялся и подошёл к окну.

— Поговорим теперь о другой части уравнения. О присвоении Джоконды Франциском Первым. В прошлом году вы сказали мне, что право обена весьма спорно юридически и что приобретение Джоконды сегодня можно было бы поставить под сомнение, как, впрочем, и всю часть творений Леонардо, приобретённых Франциском Первым. Как обстоят дела на самом деле?

Бертье пустился в пространное объяснение.

— При Римской империи, в 212 году, император Каракалла разрешает чужеземцам передавать своё имущество, уплатив налог в 10%. Это было довольно справедливо. Но после падения Рима в 476 году всё регрессирует. В феодальную эпоху, между IX и XIII веками, вводится право обена, что остаётся простым скромным налогообложением.

— Что меняется затем?

— Всё переворачивается с монархической централизацией! В 1475 году Людовик Одиннадцатый обнародует указ, что коренным образом преобразует систему. Отныне у чужеземца, умирающего без грамоты о натурализации, всё имущество полностью конфискуется

королём. Этот принцип становится *«общим законом королевства»*.

— Значит, именно в этот момент Франциск Первый присваивает Джоконду?

— Именно. После смерти Леонардо да Винчи король использует это право обена, дабы изъять картину в ущерб законным наследникам. Но вот в чём проблема: это присвоение нарушает естественное право.

— Естественное право? Что вы под этим понимаете?

— Это совокупность прав, присущих всякому человеческому существу: право на собственность, на жизнь, на свободу. Эти права всеобщи и неизменны. Франциск Первый обязан был соблюдать этот естественный закон, но нарушил его. Позже Учредительное собрание 1789 года назвало собственность *«правом священным и неотчуждаемым»*.

— Было ли право обена в итоге отменено?

— Да, постепенно. Революция отменяет его в 1791 году. Баррер де Вьёзак осуждает эту *«чудовищную максиму»*, согласно которой чужеземец *«живёт свободным, но умирает крепостным»*. К несчастью, Гражданский кодекс 1803 года частично вводит его вновь, при условии взаимности. Лишь в 1819 году оно окончательно упраздняется.

— А с конституционной точки зрения?

— Это очевидно! Право обена нарушает статью 17 Декларации 1789 года, что защищает собственность как *«право неприкосновенное и священное»*. Оно также противоречит принципу равенства статьи первой. Конституционный совет подтвердил это в 2011 году. Приоритетный вопрос конституционности мог бы даже коснуться указа 1475 года, несмотря на его давность.

Маршан прервал его.

— Погодите. Вы говорите о конституционности, но французская Конституция недавняя. Как она может применяться задним числом к событиям XVI века?

— Отличное возражение. Ответ тонок. Конституционные принципы, касающиеся основных прав, считаются имеющими всеобщий и вневременной характер. Они не создают эти права, они их признают. Право собственности существовало до 1789 года, ещё до 1475-го. Это естественные права, присущие человеческому состоянию. Указ Людовика Одиннадцатого их не отменил, он их нарушил. И это нарушение остаётся оспоримым сегодня.

— Значит, присвоение Джоконды было бы юридически оспоримо?

— Больше, чем оспоримо: несуществующе! Государственный совет установил, что акт, поражённый тяжкой и явной незаконностью, следует считать несуществующим. Согласно принципу «*Fraus omnia corrumpit*», акт, полученный обманом, не порождает прав. Несуществующий акт никогда не существовал юридически.

— Каковы были бы последствия?

— Несуществующий акт не порождает никакого юридического действия и может быть уничтожен в любой момент. Он не создаёт никакого приобретённого права. Включение Джоконды в общественное достояние было бы, таким образом, несуществующим. Даже правила неотчуждаемости и непогашаемости давностью общественных собраний были бы неприменимы.

— Вы хотите сказать, что Джоконду следовало бы вернуть наследникам Леонардо да Винчи?

— Именно! Присвоение под прикрытием права обена, противоречащего основным принципам, составляет

существенное посягательство на право собственности. Это продолжающееся нарушение длится уже пять веков. Французский кодекс культурного наследия, впрочем, предусматривает исключение из реестра в случае *«неправомерного включения в опись»*.

— Это дерзкий тезис, ставящий под сомнение века владения Францией!

— Дерзкий, безусловно, но юридически обоснованный. Вопрос остаётся: может ли право исправить столь давнюю историческую несправедливость?

Маршан застыл в раздумье. То, что только что объяснил ему Бертье, оставляло его задумчивым. Если рассуждение было юридически верным, это открывало огромные перспективы. Не только завещание Леонардо было, вероятно, поддельным, но и присвоение его творений Францией было потенциально незаконным.

— Пьер, — медленно сказал он, — вы понимаете, на что намекаете? Если ваша юридическая аргументация будет принята, это коснётся не только Джоконды. Все творения Леонардо, ныне находящиеся во Франции, могут быть истребованы.

— Я это прекрасно осознаю. Именно поэтому это дело взрывоопасно. Мы говорим не просто об академическом споре о подлинности документа. Мы говорим о законности владения Францией некоторыми из величайших шедевров истории искусства.

— Лувр никогда не отпустит эти творения.

— Вероятно, нет. Но вопрос не в том, что Лувр примет или отклонит. Вопрос в том, что справедливо, что законно. Речь не о защите интересов учреждения, сколь бы престижным оно ни было. Речь об установлении истины.

Бертье поднялся и принялся расхаживать взад-вперёд, заложив руки за спину.

— Поймите меня правильно, Антуан. Я не иконоборец, что хочет разрушить Лувр или лишить Францию её наследия. Но я глубоко верю, что культурные учреждения несут нравственную ответственность. Они не могут продолжать хранить творения сомнительного происхождения, приобретённые незаконными средствами, просто потому что это им удобно.

— Но давность... — возразил Маршан. — После пяти веков наверняка применяются принципы давности?

— Вот где юридический анализ становится захватывающим. Давность предполагает изначально действительный юридический акт. Несуществующий акт не может быть погашен давностью, потому что он никогда не существовал юридически. Это как если бы я дал вам фальшивую банкноту. Даже спустя пятьдесят лет эта банкнота осталась бы фальшивой. Время не превращает незаконный акт в законный, когда незаконность существенна и затрагивает основные принципы.

— Вы делаете различие между обычной незаконностью и существенной незаконностью?

— Да. Процедурная ошибка, незначительный формальный изъян могут быть покрыты давностью. Но нарушение основных прав, посягательство на конституционные принципы никогда не могут быть узаконены простым течением времени. Иначе мы создали бы систему, в которой самые тяжкие нарушения вознаграждались бы своей давностью.

Маршан медленно кивнул.

— Начинаю понимать ваше рассуждение. Но конкретно, кто мог бы предъявить это требование в суде? У Леонардо нет прямых потомков.

— Двое итальянских исследователей недавно обнаружили по меньшей мере четырнадцать живых потомков Леонардо да Винчи, происходящих от его сводных братьев. Эти боковые потомки юридически имели бы право действовать.

— Вы думаете, они это сделают?

— Не знаю. Некоторые, вероятно, даже не знают, что происходят от Леонардо. Другие могут не захотеть вступать в столь сложную и дорогостоящую тяжбу против французского государства и Лувра. Но юридически они имели бы на это право.

— А если бы кто-то это сделал, какой суд был бы компетентен?

— Это сложный вопрос международного частного права. В принципе, компетентным судом был бы французский, поскольку творения ныне находятся во Франции. Но были бы аргументы в пользу итальянской или даже международной юрисдикции. Не считая дипломатических последствий между Францией и Италией. Но честно говоря, я не думаю, что мы вскоре увидим процесс. Последствия были бы слишком обширны. Если признать, что право обена противоречило основным принципам, это открыло бы путь тысячам требований, касающихся других творений, другого имущества, приобретённого тем же способом на протяжении веков.

— Значит, всё это остаётся теоретическим?

— Пока да. Но важно установить принцип. Показать, что это присвоение не было законным. Дать понять, что Лувр владеет Джокондой и другими творениями Леонардо да Винчи в силу исторической случайности, основанной на несправедливом законе.

— Тогда что вы теперь делаете? Продолжаете разрушать эту легенду?

— Нет, я представляю альтернативную версию, подкреплённую вескими доказательствами. Люди вольны верить, во что хотят.

— Эта мистификация полностью меняет наше восприятие Франческо Мельци. Мы видели в нём верного ученика, быть может, оппортуниста, что воспользовался смертью учителя, чтобы присвоить несколько творений. Но если всё это было спланировано, если он выстроил столь изощрённую систему, вовлекавшую нотариусов, предусматривавшую передачу тайны, тогда это был выдающийся ум.

— Это делает его почти более интересным персонажем, чем сам Леонардо.

— Не будем заходить слишком далеко. Леонардо остаётся Леонардо. Но да, Франческо, безусловно, был больше, чем просто учеником. Умный, образованный человек, способный на сложную манипуляцию. Он изучал право. Он знал, как создать документацию, что имела бы видимость подлинности. И он почти преуспел в обмане всех и каждого.

— Почти. Но не полностью. Потому что в системе была брешь.

— Какая?

— Полное отсутствие следов во французских королевских архивах. Франческо мог контролировать происходящее в Италии. Он мог обеспечить, чтобы амбуазские нотариусы хранили тайну. Но он не мог создать поддельные записи в реестрах короля Франции. Он не мог изготовить грамоты о натурализации, которых никогда не существовало. Именно это его выдало. Если бы грамоты о натурализации существовали, если бы их нашли в королевских архивах, вся наша теория рухнула бы. Но их не существует. И это

неопровержимый факт. Франческо создал очень искусный обман, но не мог переписать официальную историю.

— Значит, ваше расследование в конечном счёте опирается на отсутствие. Отсутствие документов, что должны были бы существовать, если бы официальная история была правдива.

— Парадокс моего исследования. Я доказываю нечто через то, чего не существует. Это интеллектуально досадно, но это единственный возможный метод, когда имеешь дело с подобным обманом.

Бертье открыл последнюю папку, что ещё не показывал.

— Есть ещё один элемент, что я ещё не упоминал. Я нашёл письмо некоего Карло Дзангрилло, любителя искусства, что купил рукописи Леонардо у Франческо, а затем у его сына Орацио. Это письмо, датированное 1585 годом, адресовано испанскому коллекционеру. Дзангрилло упоминает в нём, что некоторые из приобретённых им рукописей несли пометки Франческо Мельци, что казались *«желающими оправдать его владение»* этими документами.

— Оправдательные пометки? В каком смысле?

— Дзангрилло не даёт подробностей, но находит это странным. Он пишет: *«Зачем законному наследнику постоянно оправдывать своё владение? Как будто он хотел кого-то убедить, а может, убедить самого себя»*. Это пронизательное замечание человека, что держал эти документы в собственных руках.

— Существуют ли эти пометки до сих пор?

— Некоторые — да. Я изучил несколько рукописей Атлантического кодекса в Милане. Там действительно находятся маргинальные заметки Франческо, добавленные после смерти Леонардо, что гласят такие вещи, как *«унаследовано от учителя»* или *«получено согласно его последней воле»*. Это повторяющиеся, настойчивые утверждения,

словно Франческо хотел высечь в камне законность своего владения.

— Поведение человека с нечистой совестью?

— Или человека, что предвидит будущие оспаривания и хочет подготовить свою защиту. Франческо был методичен. Он ничего не оставлял на волю случая. Каждая помеченная рукопись становится дополнительной уликой в его деле по узаконению.

Маршан приблизился, чтобы рассмотреть фотокопии пометок.

— Вы отдавали почерк этих пометок на анализ? Дабы подтвердить, что они действительно принадлежат Франческо?

— Да, двум независимым экспертам. Оба подтверждают, что это действительно почерк Франческо Мельци. Чернила и бумага соответствуют периоду 1520–1530 годов. Эти пометки были добавлены в годы, последовавшие за смертью Леонардо.

— Значит, Франческо уже выстраивал свой рассказ о законности.

— Именно. Это не действия спокойного наследника. Это действия человека, что знает, что его положение шатко, и хочет укрепить его всеми средствами.

Бертье закрыл папку.

— Что мне хотелось бы знать? Что именно содержалось в этой копии XVII века. Была ли она идентична известной итальянской версии? Были ли варианты, дополнительные подробности?

— Хороший вопрос. К сожалению, Монтегло не даёт этих подробностей в своей статье. Он лишь говорит, что это была копия.

— Досадно.

— Всё в этом деле досадно. Всякий раз, когда кажется, что удержишь окончательную улику, она ускользает. Это как гнаться за тенью.

— Но эта история с бочкой научила меня кое-чему важному. Что мистификация, если это мистификация, была задумана так, чтобы длиться. Её создатели знали, что должны оставить следы, но не слишком много. Позволить документам циркулировать, но не оригиналам. Создать свидетельства, но непроверяемые. Выстроить систему защиты, но такую, что не покажется подозрительной. Тонкое равновесие, замечательно хорошо поддерживаемое.

Маршан скрестил руки.

— Вы почти заставляете меня восхищаться этим обманом, если это обман.

— О, но я им восхищаюсь! Это шедевр в своём роде. Постройка необычайной тонкости. Франческо Мельци, если он действительно автор всего этого, был по-своему гением. Он понял, что ложь должна иметь пробелы, тёмные пятна, мелкие противоречия. Потому что именно это и находишь в реальности. Слишком безупречная документация пробуждает подозрения.

— Если вы правы, если всё это мошенническая постройка, тогда это одна из величайших афер в истории искусства.

— Не *«одна из величайших»*. Величайшая. Потому что она сумела обмануть всех и каждого. Историков, экспертов... Даже Лувр принял без вопросов происхождение некоторых творений.

— И теперь вы собираетесь разрушить эту постройку.

— Я собираюсь раскрыть правду, — возразил Бертъе. — Это разные вещи. И, честно говоря, я не уверен, что это благо.

— Как так?

— Потому что эта ложь позволила спасти творения. Если бы Мельци не украл эти картины и рукописи, что бы с ними случилось? Уцелели бы они? Были бы они сохранены с такой же заботой?

— Вы оправдываете кражу?

— Я констатирую, что результаты неоднозначны. Обман послужил делу искусства. Это тревожно нравственно, но исторически неоспоримо.

— Это почти грустно. Что такая постройка в итоге будет разобрана. Всё это ради того, чтобы профессор нашёл истину в архивах.

— Не слишком грустите о мистификаторах. У них был прекрасный забег. Пять веков — это немало. И правда всегда в итоге всплывает наружу. Таков закон Истории.

— Всегда?

— Всегда. Рано или поздно вновь всплывает документ, обнаруживается свидетельство, несоответствие становится слишком явным. Ложь может длиться долго, но не вечно.

Маршан выключил экран.

— Итак, что мы теперь делаем? — спросил Маршан.

— Теперь? Идём ужинать. На сегодня я достаточно поразмышлял.

Они оба поднялись. Маршан надел куртку, пока Бертъе бережно раскладывал документы по их папкам.

— Последний вопрос, — сказал Маршан, направляясь к двери. — Если заветание поддельно, что это меняет конкретно? Придётся ли Лувру возвращать творения? Будут ли какие-либо юридические последствия?

— Нет, никаких немедленных юридических последствий без судебного решения. И потом, кому возвращать? Французскому государству, ограбленному в 1519 году? Прямым потомкам Леонардо? У него их не было.

Остаются боковые наследники, происходящие от его братьев. Некоторые из них существуют и сегодня.

— Тогда зачем всё это раскрывать?

— Потому что историю нужно рассказать такой, какой она произошла, а не такой, какой её хотелось бы видеть. Потому что Франческо Мельци, будь он вором или героем, заслуживает, чтобы его история была известна. Потому что Леонардо заслуживает большего, чем романтическая легенда, построенная на лжи.

Они вышли из кабинета и сели в лифт. Лифт прибыл. Двери открылись с металлическим скрипом. Прежде чем войти, Маршан обернулся к Бертье.

— Знаете, что я думаю? Я думаю, вы правы. Завещание было подделкой. Франческо Мельци был мошенником. Боро защищали его тайну три века. И теперь, благодаря вам, мир наконец узнает правду.

— Быть может. Если кто-нибудь захочет меня выслушать, когда я раскрою эту историю.

— Вас выслушают. Такую историю нельзя не выслушать.

Когда они вышли в холл, Маршан внезапно остановился.

— Мне только что пришла в голову мысль. Эта копия XVII века, найденная в бочке. Где она теперь?

— Монтегло не уточняет в своей статье. Он упоминает, что она была представлена на Съезде 1893 года, но потом?

— Именно. Чёрная дыра. Мы знаем, что её нашли в 1885 году, представили в 1893-м, а затем... ничего. Она снова исчезла.

— Вы думаете, её можно было бы найти?

— Нужно было бы поискать. В департаментских архивах Эндр-и-Луары, быть может. Или в Обществе изящных искусств. Или у потомков этого господина Скриба, что её представил.

— Я наведу справки уже завтра. Если эта копия ещё существует где-то, это была бы важнейшая улика для нашего дела.

— Важнейшая и опасная. Если она существует и её можно отдать на экспертизу, она могла бы либо подтвердить мои подозрения, либо свести их на нет.

— Вы боитесь того, что мы можем обнаружить?

— Нет, не боюсь. Я выстроил прочную теорию, основанную на отсутствии доказательств. Если возникнут вещественные доказательства, они могли бы всё изменить. Либо они подтвердят, что эта копия сама есть поздняя подделка, что укрепит мою теорию. Либо раскроют, что французский оригинал действительно существовал, и тогда мне придётся пересмотреть всю мою аргументацию.

— Мне трудно поверить, что никто не подумал искать эту копию до вас.

— Быть может, кто-то и искал. Быть может, её находили и вновь теряли. Или, быть может, кто-то умышленно заставил её исчезнуть, потому что она раскрывала слишком многое.

— Ещё один слой тайны.

— Именно это делает это дело столь захватывающим. Каждый ответ открывает десять новых вопросов.

Они шли молча несколько минут вдоль Сены, чьи воды отражали огни мостов. Проплывали прогулочные катера, полные туристов, их прожекторы скользили по историческим фасадам. На мосту Искусств несколько музыкантов играли джаз. Город жил, безразличный к тайнам прошлого, что пытались разгадать двое мужчин. Наконец Маршан нарушил молчание:

— Меня мучает вопрос со вчерашнего вечера. Как вы раскроете то, что обнаружили? Традиционная научная книга? Научная статья? И, главное, для какой публики?

— Это вопрос, что я задаю себе уже несколько недель. У меня два варианта. Традиционный путь: опубликовать мои открытия в научном журнале, со всеми подстрочными примечаниями, всеми ссылками, всей требуемой методологической строгостью. Это, быть может, охватит двести человек в мире. Специалистов, что будут обсуждать мои доводы в других специализированных статьях. Через десять лет, быть может, моя теория начнёт приниматься научным сообществом.

— А второй вариант?

— Написать книгу для широкой публики. Повествовательное расследование в форме романа, где я расскажу о своих поисках как об истории, с напряжением, постепенными разоблачениями, персонажами, что оживают. Книгу, что расскажет не только о том, что я обнаружил, но и о том, как я это обнаружил. Сам процесс исследования становится сюжетом.

— Вы хотите романизировать своё исследование?

— Скорее сделать его доступным. Факты остаются фактами. Документы, что я цитирую, реальны. Архивы, что я упоминаю, существуют. Но способ их представления может быть либо отталкивающим, либо захватывающим. Я могу сказать *«Анализ Каталога актов Франциска Первого раскрывает отсутствие грамот о натурализации»*, а могу рассказать, как провёл три дня, перелопачивая девять пыльных томов, о своём растущем разочаровании, затем об озарении, когда я понял, что означает это отсутствие.

— Проблема в достоверности. Если вы опубликуете только книгу для широкой публики, вас обвинят в сенсационности. Учёные скажут, что вы хотите пошуметь, а не заняться наукой. Если вы опубликуете только научную статью, никто за пределами узкого круга специалистов о ней не услышит.

— Именно поэтому я думаю, что нужно сделать и то, и другое. Сперва я публикую строгую научную статью. Это устанавливает мою достоверность. Это показывает, что я не любитель, что бросает обвинения на ветер. А затем я публикую повествовательную книгу, что повторяет те же факты, но представляет их доступным образом. Книга отсылает к статье для читателей, что хотят углубиться. Статья узаконивает книгу, а книга популяризирует статью.

— Вы ставите на оба варианта, не жертвуя ни одним.

— Именно так. Я думаю, это единственная жизнеспособная стратегия. Статья выходит, скажем, в «*Leibniz Institut für Sozial Wissenschaften*», что располагает редакционной коллегией. Двадцать листов, около тридцати подстрочных примечаний, вся научная артиллерия. Я публикую её также на юридическом сайте, например «*Village de la Justice*», что регулярно читают адвокаты, судьи, историки права. Я избегаю слишком чопорных изданий, вроде «*Dalloz*», «*Annales*» или «*Revue d'Histoire Moderne et Contemporaine*». Но выбираю широкое распространение на «*Academia.edu*», американском сетевом сайте, что позволяет исследователям связываться друг с другом, следить за трудами друг друга и обмениваться знаниями. А шесть месяцев спустя выходит книга. Примерно двести пятьдесят страниц, с той же фактической строгостью, но представленная в повествовательной форме.

— Какое издательство вы рассматриваете?

— Не традиционное издательство. Их подход по сути коммерческий. Им нужны бестселлеры, книги, что нравятся широчайшей аудитории. Наша тема для них слишком специализирована. И потом, сроки бесконечны. Между принятием рукописи и публикацией может пройти два года. Их цель чисто финансовая, и это меня не интересует. В 1930-х годах «Галлимар» отверг рукопись

Луи-Фердинанда Селина, *«Путешествие на край ночи»*, что в итоге была принята «Деноэлем», совсем маленьким издательством. Селин, став знаменитым, в конце концов был подобран «Галлимаром».

— О ком вы думаете?

— Ни о ком конкретном. Я отказываюсь играть в обычную игру. Существуют сотни псевдоиздателей, что предлагают ограниченные тиражи за счёт автора. Непроданные экземпляры, коих множество, кончают под нож. Крупные структуры же ежемесячно получают сотни рукописей, что систематически отклоняются. Это стало настоящим бизнесом. Отбирается лишь то, что имеет значительный сбытовой потенциал. Остальное отправляется в мусор, даже не будучи прочитанным. Нет, я скорее думаю о цифровом самоиздании. О сетевых платформах вроде Amazon, Kobo, Apple Books, Google Play Книги.

— В чём было бы преимущество?

— Преимущество было бы решающим. Международная видимость при малых затратах, распространение в форме электронной книги, с бумажным тиражом по запросу. Никакого склада для управления, никакого издателя, что нужно убеждать, никаких прав, что нужно оговаривать. Я контролирую весь процесс, от рукописи до продажи. И главное, книга может быть доступна через несколько недель, а не через два года.

— С этой точки зрения это действительно заманчивое решение.

Дойдя до маленького итальянского ресторанчика, они сели за столик у окна. Официант принёс им меню и хлеб. Несколько минут они молча изучали блюда. Сделав заказ, Бертье возобновил разговор.

— Я начинаю видеть структуру книги. Я открываю её смертью Леонардо. Я описываю атмосферу Кло-Люсе,

присутствие Франческо и Салаи, напряжение. Затем перехожу к описи, минута за минутой, с напряжением: будет ли Франческо разоблачён? Далее я следую по следу сквозь века: как завещание сохранялось, как Боро его защищали, как историки XIX века едва не раскрыли правду. И заканчиваю собственным расследованием, своим постепенным открытием правды в архивах.

— Это похоже на исторический триллер, но всё правда.

— Да, примерно так. Читатели будут знать, что читают не вымысел. Каждая сцена, что я описываю, действительно произошла, или, по крайней мере, вероятно произошла, согласно документам, что у меня есть.

— Но как быть с зонами неопределённости? С моментами, когда мы точно не знаем, что произошло?

— Я говорю об этом прямо. Я сохраняю интеллектуальную честность, выстраивая повествование. Читатели никогда не будут обмануты насчёт того, что установленный факт, а что — разумное предположение.

Официант принёс блюда. Миланский эскалоп для Бертье, паста карбонара для Маршана. Пока они ели, разработка издательской стратегии продолжалась.

— Для научной статьи, какова будет главная ось? — спросил Маршан. — Отсутствие грамот о натурализации? Филологический анализ завещания? Право обена?

— Все три, но выстроенные накопительно. Я начинаю с анализа самого завещания: несоответствий, анахронизмов, проблем формулировки. Затем представляю отсутствие грамот о натурализации в королевских архивах, с подробным объяснением моей исследовательской методологии. Затем объясняю право обена и его юридические последствия. И завершаю историей Боро и бочки, что показывает, как обман сохранялся сквозь века. Каждый элемент усиливает другие. Взятый по

отдельности, каждый довод можно было бы оспорить. Но вместе они образуют пучок предположений, что становится трудно опровергнуть.

— Вы сознаёте, что наживёте себе врагов? Есть историки, что провели всю жизнь, защищая подлинность завещания. Хранители музеев, чья репутация зиждется на экспертизе, что они дали. Коллекционеры, что владеют творениями, якобы унаследованными Мельци.

— Знаю. И готовлюсь к этому. Если я прав, а я полагаю, что прав, тогда нужно иметь смелость это сказать, каковы бы ни были последствия. Я не могу молчать лишь потому, что моё открытие тревожит.

— А если вы ошибаетесь? Если появятся новые документы, что докажут, что Леонардо действительно получил грамоты о натурализации, что завещание подлинно?

— Тогда я ошибаюсь. И я признаю это публично. Пересмотрю свои выводы. Но по крайней мере, я задам правильные вопросы. Заставлю научное сообщество пересмотреть документ, принятый веками без настоящей критики. Даже если мою теорию опровергнут, я продвину исследование вперёд. Именно так работает наука. Гипотезами, проверками, возможными опровержениями. Единственная интеллектуально честная позиция. История продвигается лишь тогда, когда кто-то осмеливается поставить под сомнение установленные истины. Если бы все довольствовались повторением уже сказанного, мы бы никогда не продвинулись.

Конец трапезы был посвящён практическим деталям. Как организовать подстрочные примечания в статье? Нужно ли включать фотографические репродукции документов? Как удостовериться, что переводы с латыни и старинного итальянского верны? Кто мог бы перечитать рукопись перед подачей?

Они вышли из ресторана около десяти вечера. Парижская ночь была мягкой, улицы всё ещё оживлёнными.

— Доберитесь благополучно, — сказал Бертье. — И подумайте о том, что мы сегодня обсудили. Завтра я начну писать и представляю вам мои первые наброски для прочтения и правки, если вы не против. Сперва научную статью. Книга придёт после.

— Принимаю с большим удовольствием. Но вы уверены, что хотите пуститься в это предприятие? Как только вы опубликуетесь, назад пути не будет. Вас заклеят как того, кто поставил под сомнение подлинность завещания Леонардо. Некоторые увидят в вас ревизиониста.

— Я уверен. Франческо Мельци хранил свою тайну пять веков. Пора кому-то её раскрыть.

Они расстались на углу улицы. Маршан отправился к метро, пока Бертье шёл к своей квартире. В его голове уже выстраивались фразы, складывались доводы. Он видел, как складывается статья, а затем книга, что за ней последует. Добравшись до дома, он не смог уснуть. Умственное возбуждение было слишком сильным. Он сел за стол, включил компьютер и начал печатать. Название статьи: *«Спорное присвоение Джоконды королём Франциском Первым и его последствия в свете потенциального притязания потомков Леонардо да Винчи на собственность картины».*

Начало текста: *«Когда Леонардо да Винчи завершил портрет Моны Лизы, он, разумеется, далёк был от мысли, что после его смерти король Франциск Первый присвоит его себе, воспользовавшись правом обена, и что его ученик Франческо Мельци завладеет его прочими полотнами, по-видимому, изготовив от начала до конца поддельное письмо и подложное завещание. Ещё дальше он был от подозрения, что его портрет станет самым дорогим и самым знаменитым в мире, защищённым под бронированным стеклом в музее, что ежегодно посещают миллионы людей со всех концов планеты...»*

Два часа непрерывного письма, за которые Бертье установил главные линии своей аргументации. Остановившись около часа ночи, он был измождён, но доволен. Пять плотных страниц составили костяк статьи. Прежде чем выключить компьютер, он создал новый документ, предварительно озаглавленный: *«Роман»*. В этом пустом документе — простая заметка: *«Глава 1 — Хозяин Кло-Люсе. Глава 2 — Королевские агенты. Глава 3 — Годы мистификации. Глава 4 — Архитектура лжи»*. Он несколько секунд разглядывал эти строки, затем выключил всё и лёг спать. Впервые за много месяцев он спал крепко, без тревожных снов.

В следующую субботу утром Бертье принял Антуана Маршана около 9:30. Хранитель нёс под мышкой толстую картонную папку.

— Я провёл ночь, размышляя о нашем разговоре. Я начал собирать документы для научной статьи. Вот они.

Бертье открыл папку и начал просматривать документы.

— Отличная работа. Вижу, вы даже нашли переписку между Монтегло и Грандмезоном, что я искал неделями.

— Она была в национальных архивах, в фонде учёных обществ. Я туда заглянул сразу же по открытии сегодня утром.

— Вы поехали в архивы в 8 часов утра в субботу?

— Мне не спалось. Уж лучше быть продуктивным. Взгляните, что я откопал.

Маршан достал фотокопию рукописного письма, датированного 12 апреля 1889 года.

— Это письмо Грандмезона коллеге-историку, некоему Леону Палюстру. Послушайте этот отрывок: *«Боро упорствуют в своём необъяснимом отказе дать нам доступ к их архивам XVI века. У меня неприятное ощущение, что они что-то скрывают, но что именно? Боятся ли они, что мы обнаружим*

нарушение в актах их предшественников? Или защищают кого-то влиятельного? Монтегло разделяет мои подозрения, но у нас нет способа принудить их. Нотариальная профессиональная тайна — неприступная крепость».

Бертье поднял глаза.

— Это замечательно. У Грандмезона уже в 1889 году были подозрения. За четыре года до публичного представления копии. Это подтверждает, что сомнения циркулировали в учёных кругах задолго до открытия бочки. Это письмо непременно должно быть включено в статью. Оно показывает, что мистификация давала трещины уже в конце XIX века. Утро было посвящено упорядочиванию документов, выстраиванию аргументации. Письмо, проверка ссылок, предложения переформулировок. Продолжение до вечера, методичное построение аргументации. Он написал ещё 8 плотных страниц, составивших ядро статьи.

— Хорошая работа. Ещё неделя в таком темпе, и статья будет готова. А книга? Когда вы начнёте?

— Как только статья будет отправлена в журнал и распространена по интернет-платформам. Я хочу сперва обезопасить научный подход, прежде чем пуститься в повествовательное приключение.

Следующим вторником днём они явились в Национальный институт истории искусства. Мадам Дюран, женщина лет шестидесяти в очках-полумесяцах, приняла их в архивном читальном зале.

— Господа, я достала всё, что у нас есть об Анатоле де Монтегло. Этого хватит на весь день.

На большом рабочем столе были сложены около десятка серых архивных коробок.

— Мы ищем конкретно всё, что касается завещания Леонардо да Винчи. Заметки, черновики, личные

впечатления, сомнения, что он мог выразить в частном порядке насчёт подлинности этого документа.

— Оставляю вас работать. Если вам что-либо понадобится, я в соседнем кабинете. Вы можете фотографировать документы, но без вспышки, разумеется. Три часа они перебирали архивы. Переписка Монтегло была объёмиста: сотни писем, которыми он обменивался с другими историками, хранителями музеев, коллекционерами, архивистами. Именно Маршан сделал важное открытие, около шестнадцати часов.

— Пьер! Взгляните на это!

Он держал рукописное письмо, датированное 15 июня 1893 года, всего через несколько недель после представления копии завещания на Съезде.

— Это письмо его другу Полю Манцу, уважаемому художественному критику и историку. Послушайте: *«Дорогой Поль, что касается той копии завещания Леонардо, представленной Скрибом на последнем съезде, у меня серьёзные сомнения, что я не смог выразить публично, не создав неприятного инцидента. Бумага, похоже, действительно XVII века, это я признаю. Но чернила кажутся мне подозрительными. Слишком чёрные, слишком ровные, слишком хорошо сохранившиеся для документа, якобы хранившегося в бочке два века. Документы XVII века, что я изучал, обычно имеют побуревшие, слегка выцветшие чернила. И потом, какая необычайная удача, что этот документ вновь всплывает как раз в тот момент, когда мы все начали задаваться вопросом об отсутствии оригинала! Развитие событий слишком совершенно, чтобы не пробудить подозрений. Боюсь, что мы имеем дело с поздней подделкой, быть может, начала XIX века, призванной заполнить документальную пустоту и ответить на неудобные вопросы, что мы задавали. Но без глубокого химического анализа чернил и бумаги невозможно быть уверенным. И кто осмелился бы потребовать такого анализа? Кто осмелился бы публично поставить под сомнение документ, представленный с*

такой торжественностью уважаемым профессором перед собранием учёных? Это означало бы подвергнуться позору и обвинениям в иконоборчестве».

Бертье бережно взял письмо, перечитал его трижды.

— У самого Монтегло были глубокие сомнения! И он не смел выразить их публично! Антуан, вы понимаете, что это значит? Один из величайших историков искусства XIX века, тот самый, что сообщил об открытии, в частном порядке полагал, что это подделка!

Бертье и Маршан продолжили свои поиски. Они обнаружили ещё три письма, где Монтегло выражал свои сомнения, всегда сугубо в частном порядке, всегда заключая, что лучше не создавать публичной полемики.

Они покинули институт к концу дня, унося множество фотокопий.

— У нас есть доказательство, что даже самые сведущие современники имели серьёзные сомнения, — торжествовал Бертье.

Вернувшись в кабинет, он тотчас же включил эти новые находки в статью. Он работал допоздна. Около полуночи он остановился.

— Антуан, думаю, наша статья готова. Шестнадцать страниц основного текста, двадцать две подстрочные заметки. Это солидно.

В последующие две недели он постепенно получал ответы от трёх рецензентов. Их отзывы были в целом положительны, с несколькими предложениями по улучшению. Опираясь на эти отклики, Бертье существенно обогатил свой раздел о праве обена и уточнил своё истолкование молчания Боро. В начале января 2025 года статья была готова. Бертье подал её в *«Leibniz Institut für Sozial Wissenschaften»*. Одновременно он

запланировал распространение на «*Academia.edu*» и «*Village de la Justice*».

— Теперь нужно ждать. Редакционная коллегия займёт по меньшей мере три месяца.

— А роман?

— Мы начинаем сейчас же.

В последующие месяцы Бертье погрузился в написание романа. К концу апреля 2025 года роман приближался к завершению. Около двухсот пятидесяти страниц. Однажды вечером в начале мая Маршан предложил:

— Теперь нужно яркое название.

После нескольких предложений Маршан внезапно поднял голову.

— У меня есть идея. Что скажете о: «*Завещание было подделкой*»?

Бертье позволил названию прозвучать у себя в мыслях.

— Да. Это идеально. Прямо, вызывающе, интригующе.

Июнь был посвящён тщательной вычитке. К концу августа 2025 года пришло долгожданное письмо: статья была принята к публикации. 12 ноября 2025 года рукопись романа была подана на платформы самоиздания. 16 ноября 2025 года «*Завещание было подделкой*» было официально опубликовано онлайн. Последующие недели видели распространение романа. Появились переводы на английский, немецкий, итальянский и испанский. Отзывы были неоднозначны, но в целом благосклонны. Бертье принимал эту критику философски. Однажды декабрьским вечером он признался Маршану:

— Нельзя понравиться всем. Важно, чтобы весть дошла. Люди теперь знают, что завещание Леонардо создаёт серьёзные проблемы.

ЭПИЛОГ

Париж, музей Лувр, 20 декабря 2025 года

Пьер Бертье стоял один перед Джокондой, в переполненном туристами со всего мира зале Государств. За несколько недель до этого в Лувре произошла громкая кража. Ограбление случилось в галерее Аполлона на втором этаже крыла Денон. Девять драгоценностей и сокровищ французской короны были похищены. Злоумышленники уронили корону императрицы Евгении, что была найдена повреждённой. Всё произошло всего в нескольких метрах от Джоконды.

Месяц прошёл со дня публикации его романа, четыре месяца — со дня распространения его статьи. Дама всё так же была здесь, за своим бронированным стеклом, невозмутимая, загадочная. Какая, в конце концов, разница, кто её украл, унаследовал, продал или купил? Она выжила. Это было главное. Маршан присоединился к нему несколько минут спустя.

— Как вы? Вы кажетесь погружённым в свои мысли.

— Я размышлял. Обо всём пройденном пути за эти три года. Об открытиях, сомнениях, уверенности, что выстраивается.

— Есть сожаления?

— Никаких. Я сделал то, что должен был сделать. Раскрыл правду, или, по крайней мере, свою версию правды.

Вокруг них толпились сотни туристов, делали селфи, изумлялись. Никто не знал. Никого не заботило, как эта картина попала сюда.

Они вышли из зала Государств, прошли через галереи. В коридоре им встретился класс лиценстов.

— А вот Джоконда, — объясняла учительница, — самая знаменитая картина в мире. Леонардо да Винчи написал её во Флоренции между 1503 и 1506 годами, затем увёз во Францию, где скончался в 1519 году. Картина была завещана королю Франциску Первому и с тех пор входит во французские собрания.

Они обменялись понимающим взглядом. Официальная история продолжала рассказываться, невозмутимая. Сколько времени пройдёт, прежде чем она изменится?

— Знаете, что меня поражает? — прошептал Маршан. — Ваша книга, быть может, через несколько веков станет тем же, чем стало для нас поддельное завещание Франческо. Одной из версий среди прочих.

— Вы правы. История постоянно переписывается. Я написал свою версию. Придут другие, что напишут свою. Они прошли через пирамиду. Париж простирался вокруг них.

— Пьер, последний вопрос. После всей этой работы... вы всё ещё думаете, что Франческо Мельци поступил неправильно, украв эти творения?

— Франческо был человеком своей эпохи. Он действовал согласно нравственным нормам XVI века. Мы судим его по нашим ценностям XXI века. Кто прав? Оба. Ни один. Всё зависит от точки зрения.

Он сделал несколько шагов, прежде чем продолжить.

— Что несомненно, так это то, что без дерзости Франческо у нас, быть может, не было бы этих необычайных научных рукописей. Было ли право обена справедливо? Нет. Была ли кража оправдана? Вероятно, нет. Но результат налицо. Шедевры сохранены, изучены, обожаемы миллионами людей.

— Это то, что вам следовало бы написать в заключении романа.

— Нет. То, что я написал, лучше. Я изложил факты. Но оставил нравственное суждение читателю. Преступник или герой? Вор или спаситель? Каждый читатель составляет собственное мнение. В этом истинная сила исторического романа. Он задаёт вопросы, вместо того чтобы навязывать ответы.

— А теперь? Каким будет ваше следующее расследование?

— Пока не знаю. Но я уверен, что где-то, в пыльном архиве, ждёт своего открытия ещё одна правда. Ждёт своего разоблачения ещё одна мистификация. Ждёт, чтобы её рассказали, ещё одна история.

— И вы будете там, чтобы её поведать.

— Мы будем там. Вы и я. Потому что именно так работает история. Каждое поколение подхватывает факел. Каждый исследователь продолжает труд, начатый теми, кто был до него.

Они помолчали несколько мгновений.

— Мне нужно идти, — сказал Маршан. — Но спасибо, Пьер. За всё. За то, что приобщили меня к этому приключению. За то, что показали мне, что и в XXI веке ещё можно совершать великие исторические открытия.

Они пожали друг другу руки, затем расстались. Через несколько часов музей закроется. Туристы разойдутся. Смотрители совершат свой обход. А Джоконда останется здесь, во тьме, никому не улыбаясь, храня свои тайны. Франческо Мельци создал обман, что просуществовал пять веков. Пьер Бертье только что его раскрыл. Но, в сущности, имела ли эта тайна значение на самом деле? Стала ли красота картины от этого меньше? Стало ли волнение, что она вызывает, менее подлинным? Разумеется, нет. Остальное было лишь шумом и яростью. Всякая человеческая история в конце концов растворяется во времени. Но творения остаются. Красота выживает.

Загадочная улыбка проходит сквозь века. Снаружи Париж шумел своими миллионами жизней. Другие историки склонятся над нашей эпохой. Раскроют другие тайны. Напишут другие версии. И это было прекрасно. Это означало, что поиск истины не имел конца, что каждому поколению было что внести, что труд историков никогда не будет завершён. Бертье улыбнулся про себя, затем ускорил шаг. У него была назначена встреча за ужином с женой, что он слишком долго пренебрегал в эти три года одержимости. Пора было вернуться к обычной жизни. По крайней мере, на какое-то время. Пока его не позовёт следующая тайна.
